

Денис  
Соболев



# ЛЕГЕНДЫ ГОРЫ КАРМЕЛЬ

*Четырнадцать историй  
о любви и времени*

Денис Соболев

**Легенды горы Кармель**

«Геликон Плюс»

2010

УДК 84.161.1  
ББК 84(Рос=Рус)6

**Соболев Д. М.**

Легенды горы Кармель / Д. М. Соболев — «Геликон Плюс», 2010

ISBN 978-5-00098-071-2

Новый роман Дениса Соболева «Легенды горы Кармель» погружает читателя в захватывающий, очаровывающий и страшный мир Восточного Средиземноморья и человеческого бытия. Соболев пишет о поиске прошлого, на который мы все обречены, прошлого меняющегося, часто почти неуловимого, но при этом столь значимого. Это книга о человеческой душе, погруженной в неподвластную ей историю, о течении времени, о неизбежной трагичности человеческой жизни, о существующем и несбывшемся, о надежде, самообмане и утрате иллюзий, об обретении значимого. Это книга о городе и месте. На протяжении двух тысяч лет разные эпохи и культурные миры проходят сквозь город и отражаются в его легендах, мечтах и фантазиях. За последние несколько лет проза Соболева приобрела новую актуальность и созвучность для российского читателя. Его «Легенды» возвращаются к, казалось бы, давно отброшенным проблемам души и слова, человечности и сострадания, верности и корысти, мира и войны, к тонкой границе между необходимостью защищать свою страну и эксцессами многословного патриотизма. Главы романа рассказывают не только разные истории, но и о разных способах видеть мир, думать и говорить о нем. Они требуют от читателя и внимания, и критического взгляда. Эта непривычная книга отказывается думать вместо читателя, но стремится думать вместе с ним.

УДК 84.161.1  
ББК 84(Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-071-2

© Соболев Д. М., 2010

© Геликон Плюс, 2010

## Содержание

Сказка первая. Про великого поэта Соломона ибн Габироля и фарфоровую куклу	7
Сказка вторая. О драконе горы Кармель и хайфской генизе	16
Сказка третья. О духах замка Рушмия	22
Сказка четвертая. Про Беньямина из Туделы и нашествие бабуинов	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Денис Соболев**

## **Легенды горы Кармель**

© Соболев Д., текст, 2010

© Ирина Голуб, 1995.

© «Геликон Плюс», макет, 2016

## Сказка первая. Про великого поэта Соломона ибн Габироля и фарфоровую куклу

Атака снова захлебнулась в огне и пыли. Коротко стрекотали автоматы, дольше – пулеметы; глухо рвались минометные снаряды. Бинт-Джибейль опять лежал внизу, между холмами, окутанный дымом. Он казался больше, чем был на самом деле, – в его дымном покрове, в густом мареве – скопище серых бесформенных домов на узких кривых улицах без всяких признаков старины. Крыши с торчащей арматурой, бетонные стены, помойки, кучи какого-то мусора, следы поспешного бегства жителей, разбитые машины – уже полуразрушенный. И где-то там внизу прятались боевики, в своих бесчисленных подвалах и туннелях. Все повторялось со страшной, неумолимой, неотвратимой логикой сна – и серые выгоревшие холмы вокруг, и густой воздух, наполненный позднейюльской жарой, и подбитые бронетранспортеры, и крики, и тишина, и перебежки, и атаки, и длинный дальний дым гранатометов. Они уже входили в этот город и вернулись, и входили в него снова, стреляли на улицах, спотыкались о камни, в густых клубах пыли и дыма несли на себе трупы к вертолетам, которым было разрешено садиться не больше, чем на минуту. И снова вышли из Бинт-Джибейля, и теперь снова должны были в него вернуться. Смысл приказов не был ясен, да и, похоже, давно уже не было никакого смысла. Трещали дальние очереди, поднимались клубы пыли. Менялись имена убитых, менялись лица раненых, а этот проклятый город все снился и снился. А потом наступила тишина.

Тишина продолжалась и тогда, когда Юваль снова увидел окружающий мир. Все было чуть затуманенным, как будто дым и пыль от минометных разрывов еще не рассеялись. Но потом по левую руку он увидел стойку из тонкого металла с раздутыми полиэтиленовыми пакетами капельниц. Ткань подушки была чистой и мягкой, а тело, хоть и наполненное тяжестью, почти не болело. После некоторых усилий Юваль нащупал в памяти какие-то отрывочные картинки – носилки, на которых его несли так низко, пригнувшись к земле, что ему казалось, что он плывет прямо над пожухшей травой, пробивающейся сквозь сухую каменистую землю, ровный шум вертолетных моторов, светло-зеленые халаты и лица врачей – но все это было столько раз виденным и наяву, и еще больше в скверных фильмах, что он так и не смог понять, что же из этого действительно происходило с ним самим. Так он и лежал, прижавшись щекой к подушке, пока – какой-то тихой вкрадчивой походкой – не вошла медсестра. Он повернул голову, белое пятно подушки вспыхнуло и погасло. Он улыбнулся сестре; мир обозначился четче, но все же не так, как раньше, как будто за время его отсутствия этот мир потерял самую глубинную основу своей материальности, как будто ему просто показывали фильм, хоть в своем роде и очень увлекательный. Но потом жизнь стала возвращаться к своему когда-то знакомому, проторенному пути. В больницу пришла его подруга Кармит, трогательно его целовала и долго сидела около постели, рассказывая об общих знакомых; потом приехали родители и брат, входили и выходили медсестры, зашел врач, больной на соседней кровати переворачивался и жалобно стонал. Впрочем, вскоре Юваль понял, что почти не был ранен, скорее контужен; и родители хором убеждали его, что с ним все хорошо. Из больницы он вернулся в мир, который казался ему подаренным вновь – неожиданно и в каком-то смысле незаслуженно, – но при этом безмерно чужим, как будто между ним и этим миром уже прошла вечность.

В первые дни в Хайфе еще продолжались бомбежки; потом настал последний день войны, когда ракеты сыпались почти как град. Под вой сирен Юваль вышел на улицу и увидел толпу бегущих людей. Через несколько минут где-то далеко и тяжело ухнуло; и в тот же день война кончилась. От программы психологической реабилитации он отказался, несмотря на все уговоры родителей, как если бы где-то там, на выжженных августовских горах и в густых ливан-

ских лесах, среди страшных ночей войны осталось что-то такое, о чем ни в коем случае нельзя было забыть. В первый же месяц он вернулся на работу и продолжал исполнять ее довольно успешно, хоть и несколько отстраненно. Поначалу Кармит часто приходила и еще чаще звонила; каждые выходные – а иногда и на неделе – она уговаривала его выйти из дома, посидеть с друзьями в пабе или поехать потанцевать. Обычно он пытался отказаться, но в конечном счете все же соглашался – а потом сидел с пустыми глазами и отсутствующим взглядом, слушая невнятные, неестественно возбужденные голоса собеседников, тонушие в музыке и шуме сменяющихся пабов. Они возвращались по ночному городу, и люди вокруг казались ему чужими, хоть и знакомыми, как если бы он был туристом, вернувшимся в уже виденный город. Постепенно голос Кармит становился все более раздраженным; она все чаще искала поводов для ссор или рассказывала про каких-то своих знакомых или мужей ее подруг, которые во Вторую ливанскую тоже были «внутри», но вернулись без особых изменений и травм – и не были склонны «делать из этого проблему».

Она нашла ему хорошего психолога, который «уже показал свой профессионализм», поскольку к нему ходила ее подруга, а потом успешно вышла замуж; но Юваль отказался и от его помощи. «Ты не можешь бесконечно отравлять жизнь всем окружающим, – холодно ответила ему Кармит, – включая собственных родителей». Юваль согласился. «Мне уже не восемнадцать лет, – сказала она через несколько дней, – так не может продолжаться до бесконечности. Ты должен решить, что собираешься делать со своей жизнью». Тем временем она и сама стала ходить к психологу и подробно обсуждала с Ювалем свои разрастающиеся душевные травмы. Все, что когда-то казалось ему простым, вдруг оказалось неожиданно сложным. Чувства и смыслы постепенно отходили на задний план, а их место заменяли цели и желания, рациональные и нерациональные решения и еще «рационализации», «вытеснения», «переносы» и «контрпереносы». Они обретали какую-то удивительную материальность гомункулов, наполняя пространство ее жизни своими тайными движениями. Потом он обратил внимание на то, что и в телефонных разговорах с подругами Кармит подолгу обсуждала свои и их «переносы» на психологов и «транзитивные объекты». На каком-то этапе Юваль тоже начал читать Фрейда. Но чем больше он его читал, тем больше он укреплялся в убеждении, что то, чем занята Кармит, не имеет к Фрейду никакого отношения и вообще лежит в какой-то совсем иной плоскости, нежели мир, в пространстве которого Фрейд существовал и думал. Но что это за плоскость, Юваль так и не мог для себя определить. Он принимал «это» как данность – но данность, в которой уже не было места для того лечения словом, о котором говорил Фрейд, потому что этот новый мир давно уже ускользнул из-под власти тех смыслов, к которым возвращалось фрейдовское слово.

Постепенно и сама Кармит это тоже как-то почувствовала. Через некоторое время она стала терять интерес к психоанализу и начала ездить во всевозможные группы поддержки и правильного дыхания, на сеансы «психодрамы», где ее с Ювалем отношения разыгрывали в лицах какие-то посторонние люди, и «коучинга», где ей рассказывали, как она должна достигать своих целей и помнить о своих интересах. К этому списку вскоре прибавилась «групповая терапия», обещавшая раскрыть ее подлинное «я». Юваль все больше терялся в рассказах Кармит и в этих новых для него словах. И все же этот новый мир бесчеловечной и фантастической психологии, возведенной во вселенское правило, одновременно и удивлял его, и странным образом захватывал воображение. Но потом Юваль заметил, что постепенно психологические термины, которые, как ему казалось, он в какой-то степени еще понимал, в жизни Кармит тоже отходят на второй план и сменяются совсем уже странными словосочетаниями, смысл которых от него ускользал. Первым из этих новых увлечений Кармит стало название «нейролингвистическое программирование» – в котором все части были как будто бы ясны, но вместе они казались абсолютно несочетаемыми и даже лишенными смысла. Кармит утверждала, что с

помощью него она сможет запрограммировать других людей и заставить служить своим целям и исполнять свои желания.

Впрочем, оказалось, что в потоке этих новых увлечений Кармит и ее подруг пленяет в первую очередь новизна – и по неизвестной причине ей требовались все новые и новые открытия. Вслед за «нейролингвистическим программированием» она начала увлекаться «китайской медициной», индуистской «аюрведой», «макробиотикой», лечением на расстоянии – которое называлось «рейки» – и теорией магически полезной расстановки предметов в квартире под названием «фэн-шуй». Поначалу Юваль удивлялся, как можно заниматься лечением со столь поверхностными, как у Кармит, знаниями по анатомии и почти отсутствующими знаниями по биохимии – но потом махнул рукой. Однако в тот момент, когда он перестал ее мысленно критиковать, он вдруг обнаружил, что весь ее мир наполнен всевозможными магическими влияниями и воздействиями. Мезуза на двери могла излучать хорошую или плохую энергию, а обеденный стол стоять «не по фэн-шую». Даже обычные продукты из супермаркета делились на мужские и женские – «иньские» и «янские», – и вдруг оказывалось, что Юваль является последним, кто еще не знает, что выражено «иньские» продукты «принесут плохую энергию». Постепенно этих странных слов становилось уже столько, что Ювалю начало казаться, что он бродит среди них, как в огромном сером лесу, наполненном какими-то чудовищными мутантами фантазии. Иногда он спрашивал себя, верит ли она во все это – и как можно верить во все это одновременно, – но она верила. Еще чуть позже она стала интересоваться своими предыдущими воплощениями и техниками магической защиты. Одновременно – и как-то параллельно этому – Кармит стала ездить в группы по изучению гомеопатии и «натуропатии», потом на сеансы вызывающего легкие галлюцинации «холотропного дыхания» и какие-то тантрические семинары.

Ее мобильный все чаще оказывался выключенным, или же она просто не отвечала. Иногда они договаривались созвониться, и тогда Юваль звонил с какой-то обреченной пунктуальностью, но Кармит перезванивала только через три или четыре часа. «Я ужасно устала и уснула, – говорила она в таких случаях, – и не слышала твой звонок. Прости». Поначалу это причиняло ему боль, но потом он стал смотреть на все происходящее каким-то отстраненно-заинтересованным взглядом – если чему и удивляясь, то только своему собственному равнодушию. Постепенно Юваль заметил, что ее «тренинги» и «семинары» его скорее радуют, поскольку они освобождали от довольно тяжелой обязанности ходить по барам. Поначалу он даже попытался разобраться, чему именно их учат на ее «психологических» семинарах, но, кроме совершенно туманных фраз о «раскрытии своего я» и избавлении от «диктата родительских ценностей», он так и не смог ничего почерпнуть из ее рассказов. Те же ее подруги, которые уже почти раскрыли свое «я» или довольно далеко продвинулись на этом пути, казались ему точно такими же, как тысячи других, ничуть и ни в чем не изменившимися. Почитав же их учителей, часть из которых именовала себя «гуру», «свами» и даже «просветленными», он пришел к выводу, что нигде и никогда не хочет с ними встречаться.

Впрочем, рассказывая однажды какую-то длинную историю романтических отношений еще одной своей подруги – с большим количеством деталей, измен, взаимной лжи и сюжетных поворотов, в которых он никак не мог разобраться, – она вдруг добавила: «Потому что никто никому ничего не должен». «Что, что?» – спросил Юваль. «Это азбучная психологическая истина, – ответила Кармит. – Никто никому ничего не должен, и каждый старается быть счастливым всеми доступными ему способами. Но бывают поступки, действительно служащие достижению цели, а бывают действия, разрушительные для самого человека». «Мне казалось, – робко сказал Юваль, – что существуют определенные человеческие обязательства и какие-то, ну как бы общие ценности». Она возмущенно покачала головой. «У человека есть интересы, но не обязательства, – сказала она. – Как таковые, обязательства хороши, пока они служат нашим интересам. В конечном счете каждый сам несет ответственность за свою жизнь перед

самим собой. Все же разговоры про абстрактные обязательства – это просто форма манипуляции, и позволять собою манипулировать не следует». «А что же делать человеку, которому больно?» – спросил Юваль. «Ему следует сказать, – объяснила Кармит, – выбранный тобою образ действий меня не устраивает, и ты должен взвесить возможные последствия». «А что же делать тому человеку, который поверил другому?» – спросил Юваль, чуть подумав. «А вот идиотом быть не следует. Кто же ему доктор», – ответила она и продолжила рассказывать про перипетии истории подруги. Юваль снова потерялся в ее рассказе, и ему стало казаться, что он видит, как постепенно приближается серая масса холмов и из подползающих руин бьют красные всполохи очередей. Он почувствовал, как у него перехватывает дыхание и взгляд тонет в пыли и каком-то новом, никогда там не бывшем тумане. Тогда он решил поехать на один из ее семинаров; Кармит согласилась, хотя и без особого энтузиазма. «Лучше бы ты сначала, как все, пошел к психологу», – сказала она.

Семинар проходил в арендованном зале, из которого были вынесены стулья; вокруг ведущего кружком сидели около тридцати человек. Сначала ведущий семинара, который называл себя «просветленным», рассказывал о целях семинара, заключавшихся в раскрытии подлинной личности и ее потребностей – а также способностей к самоизлечению – посредством вспоминания предыдущих воплощений. Несколько женщин следили за ним возбужденным взглядом. Потом начался сам семинар. Произнеся звук «Ом», участники начали бегать по залу, выть, танцевать, проклинать друг друга и исповедоваться друг другу в любви; потом наступил момент единения в дыхании, за которым последовала пауза, потом «медитация». Во время «медитации» участники семинара начали постепенно погружаться в прошлое и вспоминать эпизоды предыдущих жизней, рассказывали о них другим; с помощью присутствующих эти эпизоды немедленно разыгрывали в лицах. Ведущий направлял и комментировал поставленные сценки; из его комментариев обычно следовало, что участники воспоминаний вели себя глупо, нерационально, вопреки своим социальным интересам и позволяли собой манипулировать. Некоторые начинали плакать, другие впадали в транс; рыдания бескостной индийской музыки наполнили воздух. Вернувшись в Хайфу, Юваль долго ходил по пустому ночному городу. Пахло дождем, и на душе было невыносимо холодно и тоскливо. Он поймал себя на том, что почему-то пытается вспомнить какие-то стихи ибн Габироля, но – едва мелькнув – эти строчки снова исчезали в провалах памяти.

На следующий день Юваль сказал на работе, что собирается уволиться. Впрочем, его попросили поработать еще три недели, и он согласился. Это было легким компромиссом, поскольку он уже чувствовал перед собой бесконечность времени. Узнав, что он бросил работу, Кармит сказала, что даже для нее это, пожалуй, слишком и их отношения окончены. Юваль согласился и даже выдохнул с каким-то легким облегчением, как будто с его плеч упал еще один ненужный груз. Подумав, что теперь ему, вероятно, придется начать экономить, он продал машину. Затем – как и полагалось по договору, за три месяца – он предупредил своего квартировладельца о том, что будет вынужден съехать, а родителей – о том, что собирается переехать назад в свою детскую комнату, давно уже стоявшую пустой. Родители вздрогнули, их лица потемнели, но они согласились. У них он прожил несколько месяцев, редко выходя из дома, еще меньше разговаривая, и постепенно при виде него их лица становились всё темнее, а слова всё резче. Но когда он смотрел на себя в зеркало, ему тоже становилось грустно. А еще Юваль подолгу не мог уснуть и все чаще просыпался от кошмаров. Мать раз за разом напоминала ему о том, что надо найти работу; Юваль же отвечал, что за последние месяцы заработал достаточно для того, чтобы некоторое время не работать. И все же, несмотря на неожиданно обрушившуюся на него свободу, он засыпал всё позже, а ночи становились всё длиннее и страшнее. Каждую ночь он слышал, как город постепенно погружается в тишину, как стихают голоса, как темнота окружающего мира становится густой и тяжелой; тогда Юваль

опускал жалюзи как можно плотнее, как если бы старался сделать так, чтобы не пропустить темноту внутрь.

Тем временем постоянная усталость от бессонных ночей падала на него все сильнее. Эти ночи приносили пустоту, слабость, потом отчаяние и какой-то бесформенный дневной туман, в котором тонул окружающий мир и сквозь который приходилось как-то жить, проталкиваясь под грузом его тяжести в ожидании спасительного сна. Юваль пошел к врачу и выписал снотворные таблетки – подумав, почему же он не сделал этого раньше, – и поначалу они ему помогали. Но оказалось, что день ото дня таблетки действуют все хуже. Постепенно их стало хватать только на несколько спасительных часов сна – часов несуществования, лишённого даже снов, которые приносили вслед за собой несколько утренних минут облегчения и покоя. Но потом на измученное тело и душу снова обрушивались слабость и пустота. Он заметил, что к удушающей темноте бесконечных бессонных ночей, к туману и пустоте его дней прибавилась тоска по этим минутам облегчения и возвращения некогда наполнявшей его силы. На их фоне слабость и боль мучили его еще сильнее, а тяжесть тела становилась сначала привычкой, а потом и единственной неизбывной реальностью. Постепенно родители перестали с ним разговаривать; впрочем, и ему тоже не хотелось никого видеть. Но все же с повторяемостью кошмара как-то так получалось, что снова и снова он запутывался в неясных отношениях со случайными женщинами. Одна из таких девушек рассказала ему, что ночью он кричит во сне. Она была очень напугана и с упреком сказала ему, что не была к этому готова, поскольку он производит «такое спокойное впечатление». Юваль извинился и подумал, что и родителям, наверное, это должно очень мешать; наконец с ним взялся поговорить брат. «Неужели ты не понимаешь, – сказал он, – что для них твое присутствие непереносимо? Если ты не можешь работать, походи к врачам и получи армейское пособие по инвалидности. На эти деньги ты сможешь снимать комнату или даже квартиру. Лучше бы ты остался в Ливане, потому что так ты убьешь еще и родителей». Юваль стал искать квартиру, но его опередил отец. Как-то вечером он принес ключ и сказал, что – в качестве меньшего зла – Юваль может пока «там» пожить, но должен запомнить, что это не подарок, поскольку эта квартира – собственность всей семьи.

«Там» означало квартиру его бабушки на западном склоне горы Кармель, над морем, с окнами прямо в голубое небо – а точнее, квартиру ее и деда. Но деда уже давно не было в живых, а бабушку родители и сестра отца перевезли в дом престарелых. Юваль иногда приходил к ней, с болью наблюдая, как на новом месте ее сознание стало быстро и необратимо затемняться. Квартиру поначалу собирались сдать, но потом испугались, что случайные жильцы ее разрушат. Знакомых же, которые хотели бы арендовать большую семейную квартиру, не находилось, и она стояла пустой. Юваль взял ключ, поблагодарил отца и переехал. Он снял чехлы с мебели и рояля, поднял жалюзи, открыл окна и даже вытер пыль с книжных полок. Комнату наполнило светом, и у него посветлело на душе. На стенах висели картины, какие-то старые дагерротипы и фотографии. Он помнил, как бабушка рассказывала ему про изображенных на них людей: их семья еще во Франкфурте перед самой войной, давние европейские города с мощеными мостовыми, дядя ее матери по имени то ли Франц, то ли Генрих с непроизносимой фамилией, бывший одним из основателей Техниона, странный и далекий Израиль пятидесятих, она сама вместе с дедом на берегу Галилейского моря, отец в военной форме, свадьба тетки, несколько пейзажей. Здесь, в Кармелии, было тихо, море сливалось с небом, а город раскинулся где-то за спиной огромным полукругом. Ему стало легче, и только ночи оставались для него удушающими, непереносимыми, а часто и наполненными ужасом. В кошмарах ему снились страшные горы Ливана и равнодушные маски окружающих людей. Юваль казался себе человеком с содранной кожей. В погоне же за минутами своего мимолетного утреннего освобождения он постепенно все больше увеличивал дозу снотворного, но и этого увеличения хватало ненадолго.

И тогда он вспомнил, как когда-то, после регулярной армейской службы – как и большинство других демобилизованных солдат, – он надолго уехал за границу. Но надолго можно было уехать только в очень дешевые – и обычно несчастные – страны; так что вместе с потоком таких же отправленных в резерв израильских солдат – растерянных, но и как-то непропорционально повзрослевших – Юваль отправился на полгода в Индию. Впрочем, снова возвращаться в Индию ему не хотелось. Он мысленно перебирал все то, что знал о странах южной и центральной Америки, но потом, неожиданно увидев дешевый билет, остановился на Индокитае. Через несколько дней он приземлился в Бангкоке. Перед его глазами – как в каком-то странном раскрашенном немом фильме – замелькали джунгли, бесчисленные Будды и золоченые речные змеи, восходы и закаты на Меконге, дома на высоких деревянных столбах, голые дети, выбегающие из зарослей, мотороллеры с прицепными колясками, западные туристы, плавающие по реке на старых тракторных шинах, пьяные американки и австралийки, запах южного воздуха, бесконечные берега Вьетнама и медленно зарастающие следы войны. Обычно он просто старался отдаться течению времени и этого невероятного фильма по ту сторону глаз, но иногда все же вспоминал о том, что здесь – еще совсем недавно – людьми Запада и людьми Востока были совершены чудовищные преступления, которые так и остались безнаказанными. В эти минуты он начинал думать о непроглядном ужасе истории, о тех миллионах, которые были убиты всевозможными чингисханами, о том, что именно человеческая память возводит их в ранг героев, о преклонении перед жестокостью, о безнаказанности и о бесконечном зле человеческого сердца. Так, двигаясь по большому зубчатому полукругу через Таиланд, Лаос и Вьетнам, Юваль оказался в Камбодже.

Он побывал в ее маленьких городах с разбитыми грунтовыми дорогами и грязью цвета крови, в джунглях на Меконге, усеянных хижинами, около минных полей и мест массовых расстрелов, в музее геноцида со страшными фотографиями пыток, которые палачи хранили в личных делах заключенных. И день ото дня эта тщательно спрятанная больная совесть Запада, эта страшная изнанка Холодной войны казалась ему все страшнее. Он читал о связях «кхмеров» с западными интеллектуалами, о том, как Центральное разведывательное управление помогало «кхмерам» уже после их свержения, о том, что их представитель оставался официальным представителем Камбоджи в ООН до самого конца Холодной войны. Вся стройность деления мира на добро и зло неожиданно смешалась; Ювалю стало казаться, что он мысленно пишет какую-то нелепую газетную статью с разоблачением неизвестных ему людей, но из этой статьи не было вывода. А потом в Пномпене он все же поехал посмотреть на «расстрельные поля», которые ему настойчиво предлагали путеводители и рекламные проспекты. Водитель мотороллера с прицепом для пассажира предложил ему наркотики или малолетнюю проститутку; Юваль вежливо отказался. В полях было спокойно, даже почти пасторально, шелестел ветер, а потом он увидел ступу, выстроенную из черепов. Он сидел на траве и смотрел в пространство. «Но почему же за это никто не был наказан?» – спросил он. «А почему фельдмаршал Манштейн, – ответила ему сидевшая напротив белесая немецкая туристка, – который ответственен за массовые убийства вас, евреев, в Крыму, после войны был у нас советником по обороне, дожил в Баварии до старости и похоронен с почестями?» Мысль о невыносимой безнаказанности зла – и о том, что именно злодеяния особенно страшные оказываются безнаказанными особенно часто, – захлестнула Юваля с какой-то по-новому осязаемой болью.

В ту ночь он написал Богу свое первое смс. «Я не согласен», написал Юваль коротко и добавил в качестве адресата слово «Бог». Мобильный телефон замигал и выдал сообщение об ошибке. «Отсутствует телефонный номер», прочитал Юваль и подумал, что это поправимо. Он прибавил к адресу номер, состоящий из множества нулей, и попытался послать сообщение снова. Смс прошло. «Ну вот, – подумал Юваль, – связь налажена. Теперь остается подождать, пока он мне ответит». Наконец он уснул, а когда проснулся, понял, что проснулся от собственного крика.

День за днем он двигался по Индокитаю все дальше, но ему все так же мерещились ступы из черепов. Ночь за ночью он просыпался от страха и отправлял Богу эсэмэски. «Тебя нельзя спрашивать, – писал он, – но я хочу сказать, что я не согласен». Постепенно он стал бояться еще и безумия. Оно подступало к нему какой-то густой, жаркой, бесформенной массой, неотступно затягивая, и он ничего, ничего, совсем ничего не мог с этим сделать. Юваль представлял себе, как – вернувшись в Израиль после отсутствия столь долгого – он увидит все вокруг, совсем все, другими глазами и тогда придет в больницу и скажет: «Я хочу госпитализироваться». Тогда он решил вернуться в Израиль как можно скорее.

Юваль приехал в Хайфу утром, почти на рассвете, мимо светящегося светлого моря, и увидел, что ничто не изменилось. Не изменилось море, не изменились улицы, не изменилась и квартира. Он подошел к зеркалу и увидел свое лицо с отпечатком отсутствия, но оно тоже не изменилось. Как и тогда, в первый раз, он открыл окна, потом сел за рояль и отвыкшими руками коснулся клавиш. Высвободившаяся музыка приподнялась над пыльной чернотой рояля и начала тихо светиться.

В этот же день он вспомнил ту строчку из ибн Габироля, которую раньше так старался – и никак не мог – вспомнить. А потом он прочитал легенду о том, как ибн Габироль создал девушку, как первого из всех големов, но – не поверив созданию своей фантазии – разобрал ее на кусочки. «Он был гений, – подумал Юваль с грустью, – я же из тех, кто хочет верить своим големам». Он продолжил читать и узнал, что Габироля убил правитель-завистник, не простивший ему то ли его дара, то ли красоты созданной им женщины. Его тело спрятали в саду, но над ним – разоблачая убийц – вырос цветок несравненной красоты. «Я бы любил ее, – снова подумал Юваль, – но я из тех, кто не может создавать». Он не испытывал ни капли зависти, только восхищение и горечь. На следующее утро он встал рано и отправился гулять по городу, как когда-то поступал в Индии, а совсем недавно в Индокитае. Этот город чистого и светлого утреннего воздуха разительно и даже как-то неправдоподобно отличался от ночного пространства баров, кафе, ночных улыбок и бьющейся музыки дискотек. Юваль поднялся почти на гребень горы Кармель и довольно быстро вышел к Центру Кармеля – туда, где в середине девятнадцатого века находилось первое поселение европейцев на горе, а теперь из всех домов темплеров осталось лишь несколько, один из которых был украшен мемориальной доской «Летний дом Фрица Келлера, германского императорского консула». «Так мы, европейцы, здесь и оказались», – подумал он, но подумал как-то безадресно, и его «так» так и осталось туманным и двусмысленным. Город медленно наполнялся теплом, запахами и шумами.

По ступенькам каменных лестниц он спускался все ниже; кварталы становились все более неухоженными, потом почти незаметно превратились в трущобы; наконец он вышел к заброшенным домам с окнами, замурованными серыми блоками. Он свернул под арку и оказался на блошином рынке; на земле лежали простыни со всякой рухлядью и старыми книгами; резкими всполохами голосов переговаривались торговцы. Но чем ниже он спускался, тем страннее и интереснее выглядели разбросанные по земле вещи; тут были и кусочки уже ушедшего города, и старая посуда, и дешевые статуи Будды – привезенные с Востока такими же, как он, потерянными туристами, – и черные диски пластинок. Несколько раз он останавливался и начинал рыться в рваных пожелтевших книгах; но на поверку среди них не оказывалось ничего интересного. Юваль почему-то вспомнил про кучи хлама среди горящих руин Бинт-Джибейля. Когда он спустился еще ниже, развалы сменились неказистыми прилавками и старыми столами, а потом он вышел к лавкам старьевщиков. Он был уже в нижнем городе, и над домами торчала остроконечная башенка минарета в оттоманском стиле. И тут, задержавшись в своем бесцельном скольжении, взгляд Юваля остановился на одной из витрин – а точнее, окон, набитых всевозможными сломанными и ненужными вещами. Он даже не сразу понял, в чем дело. Устроившись между горкой старой посуды и пластмассовым корпусом пылесоса, на него смотрела огромная фарфоровая кукла с пристальными глазами и золотыми волосами. У нее

было идеальное одухотворенное кукольное лицо и платье цвета голубого неба. Она воплощала собой самую нереальность, всю абсолютную – ни с чем не сравнимую – неуместность своего присутствия среди вещей, отброшенных мирозданием. В каком-то смысле в своем нелепом голубом платье эта кукла была самым отказом от признания существующего. «Наша жизнь определена тем, что отсутствует, – подумал Юваль тогда, – тем, чего нам не хватает».

Юваль сразу же купил ее и, зажав под мышкой, понес домой. Больше всего ему сейчас не хотелось встретить Кармит или какую-нибудь другую из своих женщин. Но не потому, что он стеснялся или хоть в какой-то мере дорожил их мыслями. Просто эта кукла воплощала все то, что ни одной из них он никогда не мог рассказать, то, что не мог рассказать даже себе. Она казалась ему теми воротами в мир любви, которые невозможно открыть и невозможно не открыть. Принеся куклу домой, он нежно погладил ее по волосам и отряхнул пыль с платья, пронес по дому, посадил ее на стул. «Здравствуй», – сказал он ей и протянул руку к маленькой кукольной ладони; рука куклы послушно повернулась ему навстречу. У нее были огромные глаза, смотревшие в упор, и губы, наполненные нежностью и искренностью. «Сейчас я, наверное, выгляжу как сумасшедший», – подумал он и еще подумал о том, что надо будет придумать для нее имя. Он сжал куклу за плечи, снова погладил по волосам, посадил на диван. И вдруг он понял, что теперь ему снова хочется играть – но не так, как раньше, для освобождения или облегчения душевной боли, а от полноты чувства, и главное – потому что теперь он знал, для кого играет. Он играл для нее все, что помнил, все попеременно – Моцарта и Бетховена, Шумана, Шопена, адажио из Пятой симфонии Малера, которым мучают израильских детей, учащих играть на пианино, и даже какое-то безымянное переложение Парселла для рояля. Потом он посадил ее к окну, поставил перед ней чашку чая, и ему стало казаться, что – несмотря на то что он молчит – кукла отзывается на каждое его слово. Ее взгляд был прекрасен, мир понятен, а за окном над морем горело своим счастливым слепящим сиянием голубое средиземноморское небо. Юваль чувствовал себя так, как будто был пьян – или, точнее, как будто истина более важная, чем истина существующего, неожиданно подняла к нему свои глаза.

Потом он уснул, а когда проснулся, было уже почти темно, и Юваль испугался, что кукла осталась у окна одна. Он вскочил с кровати, подошел к ней, поднял ее на руки, заглянул в глаза. Кукла смотрела на него пристально и задумчиво. Юваль приготовил себе ужин, посадил ее перед собой на соседний стул, заговорил с ней, подошел к фотографиям на стене и вдруг тоже увидел их чуть удивленным взглядом куклы, осваивающейся в новом для нее мире. Он снова начал играть, а кукла молча слушала. Уже по нотам Юваль сыграл для нее возвышенные фантазии Баха, а потом начал импровизировать и понял, что наступил вечер. Так не могло продолжаться вечно, и – понимая всю конечность своих надежд – чтобы оттянуть наступление пустоты, он снова лег спать – на этот раз положив куклу рядом с собой. Еще через несколько минут он испугался, что во сне раздавит ее фарфоровое тело, наполнив осколками голубое платье, и пересадил ее в кресло. Но бессонница вернулась к нему. Он крепко сжимал глаза, пытался вспоминать голубое небо, расслаблять тело и останавливать мысли; ничто не помогало. Тогда совсем тихо он приоткрыл один глаз и посмотрел в сторону куклы. «Интересно, как там она», – подумал Юваль. Через окно на кресло бледным бесформенным пятном падал свет уличных фонарей. И вдруг ему показалось, что кукла медленно и осторожно движется. Он увидел, как она бесшумно повернула голову, подняла и опустила руки, покосилась на него. Юваль затаил дыхание. Столь же бесшумно кукла снова зашевелилась в кресле – темной массой платья на фоне светлой ткани обивки, – потом соскользнула на пол. Ее неловкие движения затекшего тела были столь прекрасны, что Юваль подумал, что кукла услышит, как громко и лихорадочно бьется его сердце. Но она ничего не услышала. Вытянув вперед правую ногу, она медленно согнула ее в колене, потом разогнула и поставила назад, повторила то же самое с левой ногой. Было видно, как – то ли задумчиво, то ли недоумевающе – она смотрит на ковер. Наконец, широко разведя руки в стороны, она сделала шаг вперед, потом еще один, со стра-

хом и гордостью оглянулась на Юваля и подняла ладони над головой. «Она учится ходить», – подумал он с опозданием, погружаясь в прозрачную воду ликования и страха.

## Сказка вторая. О драконе горы Кармель и хайфской генизе

На протяжении последних трех тысяч лет Хайфа соперничала с соседней Акрой за безраздельное господство над Хайфским заливом. Некоторые даже утверждали, что от самого сотворения мира не было двух городов – и двух типов людей, – в большей степени не похожих друг на друга и в меньшей степени склонных к взаимопониманию. Каменная Акра стремилась стать воротами – к морю ли, к пустому ли – или же просто несоразмерному нашим представлениям о конечности – гигантскому пространству Азии у нее за спиной. Хайфа же все больше замыкалась в себе, прижималась к зеленому двугорбому массиву Кармеля, поднималась над морем, заслоняясь и от Азии, и от Европы. Впрочем, разгадка этой тайны обнаружилась уже в талмудические времена, когда неожиданно выяснилось, что гора Кармель в значительной степени полая – а точнее, что внутри Кармеля находится гигантская пещера. Более того, когда после многих лет запустения на северо-западной оконечности Кармеля был вновь найден грот, в котором когда-то прятался пророк Илия, нашедшие предположили, что он каким-то образом сообщается с гигантской полостью внутри горы или одним из ведущих к ней коридоров. И хотя никаких доказательств этому найдено не было, существование этой связи так и осталось частью легенды.

В постталмудических источниках несколько раз говорится о том, что внутри Кармеля живет огромный дракон, который вылетает раз в десять лет, страшно и бесшумно поднимаясь над морем. Но если к Хайфе приближается Левиафан, дракон нарушает установленные им же самим правила, и тогда его полет звенит, как бой тысячи барабанов. Увидев дракона, Левиафан пугается и поворачивает вспять. Однако ни один из талмудических текстов не утверждает ничего подобного. Более того, в Талмуде ни Хайфа, ни гора Кармель почти не упоминаются. На самом же деле в период, последовавший за Иудейской войной и разрушением храма, древняя Хайфа была мало чем примечательным рыбацким городком, потерянным в дюнах. Именно в качестве такого городка она и упомянута в Талмуде, в трактате «Брахот». Этот трактат указывает, что жители Хайфы и Тивона говорили со столь выраженным греческим акцентом, что некоторые – особенные ревностные – законоучители запрещали вызывать их для публичного чтения Торы. Впрочем, Талмуд также сообщает, что в Хайфе жил рабби Авдими, чью могилу до сих пор можно увидеть недалеко от входа в хайфские катакомбы. Однако, как известно, имена обманчивы, и в данном случае умолчание скрывает факт столь же значимый, сколь и любопытный. На территории современной Хайфы, у подножья Кармеля – совсем рядом с рыбацким городком – находился город Шикмона, из которого нынешняя Хайфа и выросла. Не вполне понятно, когда именно она была основана, но за полторы тысячи лет до новой эры – а значит, три с половиной тысячи лет назад – она уже существовала, и, соответственно, она старше не только Москвы, Берлина или Парижа, но и Рима, и – вероятно – даже Афин. И хотя в римский период она упоминается – под именем Сикамин – уже у Иосифа Флавия, до сегодняшнего дня сохранились лишь руины более позднего времени и мозаичные остатки церкви.

Но и по ним можно многое узнать о том, какой Шикмона была тогда. Те времена, когда палестинские законоучителя еще бродили по этой земле от гор Ливана до аравийской пустыни – пытаясь собрать по кусочкам стройного учения развалины разрушенного храма – постепенно проходили. Их паства частично разбежалась, частично перешла в христианство, а потом и в ислам. Еврейская же традиция все дальше уходила от бескомпромиссного радикализма и нерассуждающего фанатизма палестинских законоучителей, а центр еврейской учености постепенно переместился в академии Вавилона. Именно там результаты их трудов и споров были собраны воедино, исправлены, дополнены, изменены, отредактированы – и пре-

вратились в Вавилонский Талмуд, или просто Талмуд – такой, каким его до сих пор изучают ученики иешив. Оставшаяся же масса материалов – хотя, вероятно, также подвергшаяся некоторой редакции – по аналогии получила название Талмуда Иерусалимского.

Последние ученики иешив собрали вместе – в огромные пачки – отброшенные, невостребованные, теперь уже ненужные тексты и отнесли их внутрь кармельской пещеры, пройдя по узкому каменному туннелю, который когда-то вел вглубь горы из долины Сиах, почти от самого моря. Вероятно, иешиботники очень боялись дракона и поэтому не стали уходить далеко. Они нашли небольшой холодный грот в четверти часа ходьбы от входа и над самым входом в грот на мягком камне выбили надпись «гениза», что означает «хранилище». Тогда же или чуть позже резчики по камню украсили стены простыми растительными орнаментами наподобие тех, которые можно увидеть в огромном пещерном городе в Бейт Шеарим у восточных отрогов горы Кармель – где находится могила составителя изначальной основы текста Талмуда, где похоронены многие из законоучителей и даже главы еврейских общин, чьи тела в Бейт Шеарим привозили на кораблях из-за моря. И так же, как в Бейт Шеарим, постепенно на стене у входа в хайфскую генизу появились и каменные головы птиц с узкими длинными клювами, и морда льва, и даже изображение летящего дракона, чьей заботе последние ученики препоручили свою больше не нужную людям память. Но боль памяти сильнее, чем воля к знанию, так что постепенно и другие люди стали приносить сюда те книги и рукописи, для которых больше не было читателей и о которых их владельцы старались забыть.

Сначала к пергаментам Иерусалимского Талмуда прибавились мистические книги, описания небесных дворцов и иерархии ангелов, тайные комментарии к Библии, рассказы о восхождении на небо древнего праведника Еноха, разговоры с великим ангелом Метатроном. Потом к ним начали добавляться книги на латыни и греческом, для которых больше не находилось читателей. Таких книг было много, потому что еще до новой эры – во времена Второго Храма – в Шикмоне, как и в Александрии, были смешаны люди разных культур и разных языков. Для греческих и латинских книг был обустроен отдельный грот чуть дальше по коридору, и – как гласит легенда – особенно правоверные ученики иешив, приехавшие издалека, специально углублялись внутрь горы, чтобы пройти мимо второго грота, повернуться к нему спиной и плюнуть. Впрочем, легенда добавляет, что некоторые из их товарищей по учебе, вооружившись факелами, тайно проникали в этот грот и проводили ночи за чтением теперь уже чужих для них книг. Их учителя приравнивали этот грех к греху прелюбодеяния, и от смешения желания и страха у тайных ночных читателей громко и неритмично билось сердце. Потом пергаментов стало становиться все больше, а из страха перед драконом их часто бросали прямо в проходах. Здесь были жалобы и доносы на соседей, оставшиеся неотправленными из страха перед теми же властями, которым они были адресованы, но также и письма, и просьбы к Богу. В пещере оказывались воспоминания давних предков о каких-то неизвестных умерших людях, карты сражений и записи о забытых коммерческих сделках, тайные исповеди, описания несуществующих стран, трактаты по математике и школьные стихи.

Иногда в случайных домашних схронах торговцы находили свои давние юношеские дневники, в которых когда-то писали, что они хотят прожить жизнь честно, стать учеными или учителями, открыть новые страны или написать великие книги. Тогда они нанимали специальных посланников, чтобы эти посланники отвезли их дневники в Палестину – в пещеру пророка Илии и страшного хайфского дракона. Так они старались заставить себя наконец-то навсегда забыть уже забытое. Их жены – втайне от мужей – тоже отдавали посланникам записи мечтаний своей юности, а с ними и память о тех временах, когда им хотелось сделать мир лучше, любить всех добрых, несчастных или обездоленных, а влечение к золоту, власти и домашнему благополучию еще не было для них столь всесильным. Теперь же они понимали, до какой степени подобные праздные мечтания недостойны замужних женщин, и старались записать их на

клочках пергамента, чтобы об их раскаянии узнал и дракон и – как и их мужья – тоже чтобы забыть. Это почти всегда им удавалось.

Но больше всего в пещере было любовных писем – в основном беспорядочных сбивчивых посланий, часто написанных с грамматическими ошибками. В своем большинстве они, как кажется, не предназначались для отправки. Эти письма рассказывали о ложных или беспочвенных надеждах, разбитых иллюзиях, обманутой вере, лживых клятвах, глубокой преданности, самопожертвовании, безграничности зла, всевластии фантазии и опьянении плотским желанием; они были пропитаны самообманом, высокими мечтами, лицемерием, честолюбием и болью. Впрочем, среди этих писем иногда попадались прекрасные образцы стиля и слога, выдававшие многие годы чтения и учебы; далеко не все они были неискренними или манерными. Ответ же на вопрос, остались ли эти прекрасные письма неотправленными из-за внутренней замкнутости их авторов, чувства безнадежности, стеснительности или страха, в большинстве случаев уже было невозможно восстановить. Среди таких писем были и письма без адресата.

Одно из них было написано девушкой, жившей, судя по письму, совсем недалеко от моря. «Я вижу волны, – писала она, – и думаю про пророка Иону на его утлом суденышке; было ли оно похоже на эти большие высокие корабли, которые приходят в порт Акры? Так и наша жизнь. Но там, за морем, лежит страна счастья, в которой никогда не тает снег». Читавший это письмо чувствовал себя вором. Он смотрел на зеленые отроги Кармеля, на высокое солнце над белой стеной дома и думал о том, как принес в пещеру свое короткое письмо без адресата, в котором было написано, что он больше не может любить людей. Он спрашивал себя, почему не ушел сразу, почему – первый раз в жизни – взял другое, чужое письмо, почему из многих тысяч пергаментов он выбрал именно его. Впрочем, он был уверен, что сделал это случайно, и был уверен, что это не так. Зеленые отроги Кармеля нависали над землей, пахло сухим песчаным ветром, а он все еще думал о письме. Ему показалось, что отец позвал его откуда-то снизу, из гостиной, но он снова сделал вид, что не слышит. Во дворе шумно возились слуги. Из открытого окна доносился запах цветов. Их семья перешла в христианство так давно – так много поколений назад, – что они уже почти не помнили, что когда-то были евреями, так же как о том, что они тоже были евреями, не помнил почти никто из окрестных христиан. Старались не помнить об этом и сами евреи. Впрочем, молились они все еще по-арамейски – на том же самом языке, на котором написан Талмуд, – и на арамейском шла церковная служба.

«Я научилась выходить из дома, – писала девушка, – но никто этого не видит, потому что чужие слова скатываются с меня, как вода. Так я и нашла эту пещеру забытых книг. Время не стоит на месте, но я не плыву вместе с временем. Наверное, именно это и значит оставаться человеком». Он снова задумался, погружаясь в счастливый прозрачный транс, как в морскую воду; раньше он думал так только о книгах. К вечеру он написал ответ и тайком отнес его в пещеру. Он не знал, как подать девушке знак, что оставляет ей ответ на письмо без ответа, и поставил на пергамент кувшин с водой. «Я всегда думал, – писал он, – Что истина может быть только в слове, потому что люди низменны, расчетливы и жестоки. Но теперь у слова появилось лицо, которого я никогда не видел, и я люблю его еще больше. Я не знал, что человеку можно верить, как слову. Ты сделала невозможное, но я не знаю, благодарить ли тебя за это». Через два дня девушка ответила. «Горе читающему чужие письма без адресата, – писала она. – Если бы ты не знал, что я пишу тебе, неужели бы тоже прочитал мое письмо? Ты мог бы прочитать письмо к другому человеку, к Богу, мог бы прочитать дневник? Разве существует большая низость? Неужели я так в тебе ошибалась?» Когда он прочитал это, он понял, что дрожит от холода. Он шел из пещеры, проваливаясь в ямы, и ему казалось, что небо покрыто коркой льда. Горечь и стыд переполняли душу. «Никогда, – написал он в ответ, – никогда. Но я все равно наполнен волнами стыда, как море водой. И все же я знал, что ты пишешь именно мне.

И почему ты была так неосторожна, что оставила письмо там, где его мог найти любой другой? Расскажи о себе, потому что без этого рассказа я не смогу жить».

Через несколько дней девушка снова ответила. «Светла и горька жизнь того, – писала она, – кто не может жить без рассказов, как не могу я. Но я сомнамбула. Я хожу по карнизам, пока меня не окликнут, и ухожу из дома, когда отец и братья идут на молитву. Женщинам нет до меня дела. Суббота и праздники – мои самые счастливые дни, потому что в эти дни молитвы самые длинные. Это молитвы моего освобождения. Но семейные праздники я ненавижу; хуже их только обрезания и свадьбы. Ты прав – правда только в слове, потому что только в слове можно сохранить свою душу». И тогда ему стало за нее страшно. Он представил себе, как тонкая фигурка сомнамбулы пробирается по крыше, чтобы оставить ему письмо, или как обезумевшие от негодования отец и братья читают эти письма, обращенные к незнакомому иноверцу, и с остекленевшими глазами отец говорит ей: «Теперь мы навсегда опозорены». «Я плыву, – подумал он, – как ветка по горной реке, быстро и бездумно, но я не хочу совершать зла. Она может упасть и разбиться». Он отнес письмо и несколько дней сидел, уставившись в одну точку, потом начинал бегать по городу, привлекая внимание торговцев. «Только потерявший свою душу, – писал он девушке, – может ее сохранить. Но я потерял свою душу, прочитав твое письмо. Никогда не читай чужих писем, ибо грех уродлив и страшен и от зла следует бежать. Береги себя!» Он был уверен, что она больше не ответит, и даже нанял старого еврея, чтобы старик собирал все сплетни и слухи о еврейских семьях. Он хотел быть уверенным, что с девушкой ничего не случилось, что полная луна теперь безопасна для нее. Но день за днем старик возвращался с пустыми руками – никаких слухов не было.

Через четыре дня он не выдержал и вернулся в пещеру. Ответ лежал на обычном месте под кувшином. «Когда я пишу тебе, – писала она, – я чувствую, как душа сжимается. В слово ныряешь, как в воду, и плывешь сквозь него, как сквозь великое море под нашими окнами. Мне кажется, я знаю, где стоит твой дом. Вокруг него сад с большими деревьями и виноградник. Но ныряя в слово, изменяешь людям. И это прекрасно, потому что зло человеческой души – бесконечно. Тогда – да здравствует измена! Одним этим можно оправдать жизнь». «Да, – согласился он, – любовь возможна только в слове». Этим было все решено, поток воды вспенился и обрушился в широкую реку; он беспомощно скользил по течению и видел, как знакомые, приятели и даже семья остаются все дальше на удаляющихся берегах. И еще тогда он понял, что два или три дня в ожидании письма – это невыносимо долго. За это время солнце успевало несколько раз подняться над Кармелем, прокатиться по небу раскаленным шаром, опуститься по ту сторону воды, наполняя дом пряными запахами ужина, а он все сидел, опустив взгляд в раскрытую книгу и считал минуты, которые отказывались проходить. Не то чтобы книги перестали задевать душу, но это происходило уже как-то иначе, поскольку он знал, что где-то по ту сторону пещеры есть второй человек, который читал ту же самую книгу. Тогда-то он и завел голубей. Он сказал отцу, что хочет быть первым человеком, как Ной, и учил голубей переносить тонкие ветки. Но на самом деле его мечта была другой. «Кто умеет принести ветку, – говорил он себе, – сможет принести и письмо. И тогда я смогу целый день писать и получать письма. Даже в постели я не смогу уснуть, не отдав голубю записку с пожеланием спокойной ночи».

День за днем, письмо за письмом, они описывали прочитанные книги и дальние страны за морем, в которых перед сном жители накрываются своими гигантскими ушами; они писали о геркулесовых столпах на самом краю света и о людях с узкими глазами щелочками, которые приходят с обратной стороны Азии. Но еще больше их волновало высокое солнце над этим городом, который Ривка никогда не покидала, тяжелое биение моря, редкие оливковые рощи на спине Кармеля, запах земли, розоватый покров весеннего миндаля и эта пещера никому, кроме них, не нужных пергаментов, которая уходила в бездонные глубины горы и благодаря которой они узнали друг друга. «Интересно, – писала она, – как там себя чувствует дракон? Спит ли он?»

И почему он так редко вылетает?» «Мои голуби уже научились приносить письма, – ответил он ей, – разве мы не сможем прожить без помощи дракона?» «Но я хочу увидеть дракона, – ответила она, – а еще людей с одним глазом во лбу, и людей с большими ушами, и эфиопов в их далекой Индии, и чужие звезды над равнинами чужого неба». С этого дня их письма стали приносить голуби, которых он научил прилетать в пещеру, а она – находить обратную дорогу от пещеры к ее дому. «Я все равно прихожу в пещеру, – призналась она, – потому что тропинка высока, а запах кустарников наполняет грудь». «Но ведь мы можем прийти туда одновременно», – с надеждой написал он. «Нет, – ответила Ривка, – это одно из тех мест, куда человек одновременно прийти не может». Но он чувствовал, что желание ее увидеть уже сильнее, чем все, что он испытывал. Он приходил в пещеру на долгие ночи, поначалу делая вид, что задерживается за чтением пергаментов, но потом – решив, что так ее отпугивает, – начал прятаться. Пару раз он даже спрятался в кустах у тропинки; ему было невыносимо, мучительно стыдно.

«Но, если ты знаешь, где я живу, не справедливо ли будет, если и я узнаю, где живешь ты?» «Нет, – ответила Ривка. – К тому же мне хочется, чтобы все было правильно перед Богом, а правильно – это далеко не всегда поровну. Разве ты не сам мне писал, что, хотя именно в слове мы стоим перед Богом, он судит нас за наши поступки, и поэтому это тоже язык, на котором мы говорим с Ним?» «Я перейду в иудаизм, – ответил он ей в порыве отчаяния, – и на тебе женюсь». «Какой ужас, – написала она, – Какой ужас. Почему ты никогда ничего не понимаешь?» И тогда он вспомнил о том, что любовь может быть только в слове и, не пройдя через слово, не может стать любовью. «Это правда, – ответила она, – быть можно только в слове и, наверное, только в слове написанном, потому что разговор слишком легковесен для бытия. Но и зло, и ложь движутся словом, а предает и обманывает человек и словом, и поступком. Хотя самого себя обмануть можно только словом». Он знал, что может нанять людей, которые выяснят, кто она, но знал и о том, что уже не сможет писать ей после того, как ее так обманет. Так проходило лето, а когда по стенам уже стучал холодный осенний дождь, Ривка написала, что ее хотят выдать замуж. «Но мне есть чем их припугнуть, – добавила она. – Я пообещала, что покончу с собой и опозорю их навсегда. Но я не хочу зла даже своей семье». А еще чуть позже она написала, что ее больше не выпускают из дома, и двери закрыты на большие засовы, и даже в самые светлые лунные ночи луна лишь отражается на меди кувшинов. «Я так скучаю по нашей пещере, – писала она. – Я так скучаю по книгам и так скучаю по дракону. Но они говорят, что я безумна». «Я должен тебя выкрасть, – отвечал он. – У нас просто нет другого выбора». «Умоляю, – писала она, – умоляю, нет. Ты убьешь этим моих родителей. Я их не люблю, но не хочу быть виновной в их смерти». Но он все же нанял двух хитрых и умелых людей, чтобы они выяснили, кто она; теперь это было очень трудно, поскольку он не мог рассказать им всего, а Ривка больше не выходила из дома и невозможно было проследить за ее легкими шагами сомнамбулы ни от пещеры, ни от источника, ни от лесной тропы. Вместо ответа они вернулись к нему со связкой догадок, но у него были и свои предположения, основанные на ее письмах.

И только голуби продолжали улетать и возвращаться. «И любовь, и бытие возможны только в слове», – продолжала повторять она, а потом голубь принес короткую записку, из которой следовало, что ее сестра нашла одно из их писем и отнесла отцу. Теперь она живет в погребке, писала Ривка, здесь холодно, и луны почти не видно, но крысы приходят с ней играть, а вот голубям приходится протискиваться сквозь узкую решетку окна под потолком. «Мне здесь хорошо, – добавляла она, – и я вспоминаю все мои книги и придумываю новые. Но они следят за мной и скоро, конечно же, поймут, что записки приносят голуби. Постарайся забыть обо мне побыстрее». Он метался по дому в отчаянии, безумии и ненависти к своей беспомощности. «Даже если небо упадет на землю, – написал он ей, – сегодня будет твоя последняя ночь в погребке. Не засыпай, потому что крысы кусают спящих». Он взял с собою двух друзей, своих неудачливых шпионов и еще двух приезжих лихих людей, которых нанял на базаре. В ту ночь

они врываются в чужие дома, под полночную брань, женские крики и стук оружия, и раз за разом обыскивали погреб и склепы. Но ни в одном из них не было женщины. И все же они успели проверить все свои предположения и догадки еще до того, как их настигла городская стража. Все эти догадки оказались ложными. Постепенно и шпионы, и лихие люди с базара исчезали в темноте. А потом он ввязался в осторожную стычку со стражниками, чтобы позволить скрыться и своим друзьям.

Поскольку никто не пострадал и из уважения к его отцу, его заперли дома, приставив стражу. Как оказалось, во время их налета пришлые люди, которых он нанял на базаре, успели украсть всевозможные мелочи из еврейских домов, в которых они побывали, и его отцу пришлось заплатить за пропажу. «Мой сын безумен, – ответил его отец, – Всевышний в своей милости не пощадил его». Тогда он объяснил отцу, что искал демонов, которые – как известно – обычно селятся в еврейских погребках. Отец попросил соседского священника зайти поговорить с его несчастным сыном. А ближе к полудню появился голубь. «Это я сама, – писала Ривка. – Я знала, что ты придешь, и попросила увезти меня в другой дом, к дальним родственникам. Моей семье и так тяжело. Разве будет им легче, если все узнают, что они держат в погребе женщину и эта женщина их дочь? Нет, им не будет от этого легче. И все же это, наверное, мое последнее письмо, потому что погреб очень глубокий и из него не видно неба. Боюсь, что я уже никогда не буду странствовать под луной. Птицы не залетают сюда, и только тому голубю, которого я всю дорогу прятала под платьем, я смогла отдать это письмо. Впрочем, быть может, он еще и вернется. Здесь ко мне снова стали милосердно и спасительно равнодушны; они приносят еду и уходят. А еще, подъезжая к дому, я увидела дерево, и теперь вижу его сквозь маленькое оконце под потолком. Я могу по нему ориентироваться, а сориентировавшись, знаю, где наша с тобой пещера. Каждый день я буду стараться увеличить свой погреб, и когда-нибудь этот проход достигнет и нашей пещеры. Я успею это сделать, потому что передо мной вечность. И если ты будешь меня там ждать, я сразу же обниму тебя».

Прочитав это письмо, он почти обезумел; казалось, что сбываются наихудшие подозрения его отца. Он рвался из комнаты, пытался выбить дверь и засовы, выл, плакал, в иступлении набросился на вбежавших стражников. Его повалили на пол и заковали в колодки. Увидев отца, он стал кричать, что обыщет все склепы и погреба от Акры до развалин Цезареи, потому что в одном из них спрятана женщина, без которой он не может жить. Выслушав его, отец заплакал. «Демоны воображения, – сказал отец священнику, – овладели им, его дразнят и искушают; он не понимает, что ничего этого нет». Но он знал, что все совсем не так и что в каком-то более глубоком и гораздо более важном смысле только это и есть. В доме для него отвели отдельную комнату с окном на сад, на самой земле – все, как он и просил. Три дня мастеровые приводили ее в порядок и что-то достраивали. «Люди халифа» проверили двери и окна, засовы и решетки; наконец с него сняли колодки. О нем заботились. И все же, получив относительную свободу, он несколько дней метался по комнате, потом затих. А еще через несколько дней он случайно узнал, что в его жизни появился смысл. Как-то ночью ему удалось разобрать часть пола, и он начал копать подземный ход, а под утро вернул камни пола на место. Так он поступал почти каждую ночь, и ход становился все глубже и длиннее. Его мучил страх, что Ривки уже нет в живых, но камень становился все тверже. А еще он боялся вести свой подкоп назад к свету, потому что и в доме, и во дворе, и на улице, и в чужих домах его скорее всего обнаружили бы раньше времени. Однажды он вспомнил ее письмо и подумал, что тоже пытается прорыть дорогу к их пещере забытых книг. И тогда он понял, что роет не подкоп, но дорогу к вечности. Там, в вечности, они наконец-то смогут прижаться друг к другу. В ту ночь он написал свое последнее письмо, которое мог отдать уже только при встрече. «Любовь и жизнь возможны только в слове, – писал он, – но из тюрьмы, которая называется жизнь, есть выход, и этот выход – не смерть, а дорога».

## Сказка третья. О духах замка Рушмия

Старая Хайфа стоит на шести долинах: Ниснас, Салиб и Рушмия, спускающихся по восточному склону в сторону Хайфского залива, и долинах западного склона: Лотем, Сиах и Эзов. Впрочем, если долины восточного склона открываются широкими спусками, обвиты каменными лестницами и в основном были густо застроены уже в начале века, то долины западного склона – это узкие и глубокие каменистые ущелья с неровным скалистым дном, разбивающие массивы городской застройки – высоко над ними – на некие подобия полуостровов. На их осыпающихся отрогах растут колючие южные кустарники, и оттуда же – прямо из-за их отвесных стен – на улицы Кармеля иногда выбегают мангусты, похожие на длинных серых одичавших кошек. Осенью и зимой по дну этих долин стекают ручьи. Следует сказать, что, несмотря на то что теперь – из-за изменений, произошедших в значении ивритских слов, – название долины Сиах иногда переводят как «долину слова» или даже «долину дискурса» – этот перевод ошибочен, а само название связано со все тем же кустарником, которым покрыты ее склоны. Люди здесь не живут. Впрочем, и из этого правила тоже есть исключения, поскольку на дне долины Сиах – между двух почти отвесных отрогов – сохранились развалины монастыря, построенного еще в двенадцатом веке и надежно скрытого от глаз случайных путников. Нижняя стена монастыря, защищенная рвом, в свою очередь, перегораживает долину. Этот монастырь был первым монастырем ордена кармелитов.

Сама сокровитость монастыря многое говорит о тех беспокойных временах, когда он был построен и когда лишь проницательный глаз мог отличить путника, монаха или рыцаря от наемника или разбойника. Разумеется, современный читатель может спросить, почему в местах столь беспокойных – беспокойных настолько, что даже монастырский комплекс, окруженный стенами, был вынужден прятаться среди скал, – монахи все же решили поселиться. Подобный вопрос требует особых объяснений, лежащих в какой-то степени вне основной линии этого повествования. И все же они заслуживают подобного отступления. На самом деле гора Кармель была одной из самых древних гор, привлечших к себе внимание человека и как место жизни, и как вместилище некоей невысказанной – возможно, даже и не могущей быть высказанной – тайны. Этот факт является особенно примечательным, учитывая относительно скромные размеры Кармеля и его удаленность не только от великих столиц древнего мира, но и – в большинстве случаев – от центральных караванных путей. Возможно, это представление о тайне и священности было связано с огромной пещерой в глубине горы, о которой так часто писали путешественники, но которая столь же часто оказывалась недоступной для тех, кто пытался искать ее намеренно. Как бы там ни было, не вызывает сомнений, что кроманьонцы и неандертальцы уже жили на Кармеле, поскольку их останки были обнаружены в пещерах на его склонах. В середине же второго тысячелетия до новой эры – за тысячу лет до Лао Цзы, Будды Гаутамы, Платона или Аристотеля – Кармель был внесен в список священных мест, составленный фараоном Тутмосом Вторым. Почти через тысячу лет после Тутмоса Пифагор останавливался на Кармеле по дороге в Египет – на своем пути поиска тайн Востока. Впрочем, и в Торе сказано, что гора Кармель является «лестницей, чья вершина упирается в небо», а Исайя называл ее «Горою Господа». В ее пещерах прятался Илья Пророк, и здесь же он победил жрецов Ваала. А еще через тысячу лет, в четвертом веке новой эры, знаменитый неоплатоник Ямвлих описывал Кармель как «священнейшую из всех гор, путь к которой сокрыт от непосвященных». Вероятно, этот же ореол тайны привлек к ней и друзей – адептов тайного учения, явленного только друзским старейшинам, – которые обосновались здесь еще через семьсот лет, в одиннадцатом веке.

Нерегулярные паломничества крестоносцев на Кармель начались почти сразу же с их появлением в Палестине, а точнее, в начале двенадцатого века. Постепенно в пещерах Кар-

меля появились и постоянные обитатели. С конца двенадцатого века сохранились документальные свидетельства того, что в этих пещерах жили отшельники и останавливались паломники. Так что, в конечном счете, нет ничего удивительного и в том, что в том же двенадцатом веке именно Кармель был выбран центром нового ордена – «Братьев нашей Дамы с горы Кармель», или, проще говоря, ордена кармелитов. Здесь же, на дне долины Сиах, и был выстроен первый монастырь ордена, который впоследствии распространит свое влияние на всю Европу, хотя и будет на триста лет изгнан из Палестины. Впрочем, несмотря на изначальную ориентацию монастыря на необходимость принимать и защищать паломников, новый орден разительно отличался от большинства монашеских институций того времени, достаточно активно вовлеченных в экономическую, политическую и даже военную жизнь. В отличие от них, кармелиты подчеркивали значимость отстранения, уединенности и медитации. Возможно, в этом сказалось удаленное расположение их первого монастыря, но возможно и то, что помимо спасения души они искали не успеха в истории, но скорее некую очень личную тайну, сокрытую внутри самой горы. Более того, они верили, что именно эту тайну искал и Пифагор, когда шел к отрогам Кармеля. Много позже, в шестнадцатом веке, кармелитский монах Хуан де ла Круз напишет книгу «Восхождение на гору Кармель», которая станет одной из самых знаменитых и загадочных книг в истории христианской мистики. И все же с самого Кармеля монахи-кармелиты были выселены в конце тринадцатого века, после падения Акры, а здание монастыря было разграблено и постепенно превратилось в руины. В середине семнадцатого века небольшой монашеский комплекс будет восстановлен совсем в другом месте – на остроносом гребне Кармеля, зависшем над морем и отвесным склоном и получившем название «Стелла Марис» – «Морская звезда». В восемнадцатом веке там же будет построено большое новое здание. Но это позднее возвращение кармелитов уже не имеет никакого отношения к нашей истории.

История же эта является историей одного человека, получившего прозвище «белый монах». На самом деле про белого монаха, появлявшегося в окрестностях монастыря, упоминали уже сами кармелиты во второй половине тринадцатого века; с ним сталкивались и паломники, и случайные странники. Любопытное свидетельство принадлежит ученикам рабби Иехиеля, переехавшего из Парижа в Акру в 1260 году вместе со своей иешивой и ее тремястами учениками. Несколько иешиботников, оказавшихся на Кармеле в начале восьмидесятых годов тринадцатого века, были чрезвычайно напуганы встречей с белым монахом – но еще больше тем фактом, что он достаточно свободно говорил на иврите. Впоследствии с белым монахом сталкивались и друзья, и бедуины – чьи стоянки часто располагались на Кармеле в пятнадцатом и шестнадцатом веках, – и торговцы, и даже разбойники. Впрочем, дух монаха видели не только около развалин кармелитского монастыря, но и в районе замка Рушмия, расположенного в нескольких километрах к востоку, – с другой стороны от гребня Кармеля. Этот замок – или, как его называли крестоносцы, Франшвилль – находился рядом с источником, но и над морем, там, где кармельский хребет делится на два отрога, охватывающих залив; развалины его стен и донжона сохранились до сих пор. Судя по воспоминаниям паломников, замок Рушмия был расположен на месте рождения святого Дени, где и была выстроена часовня. Несмотря на то что перед падением Акры замок был брошен, дух белого монаха иногда видели и среди руин часовни, и на высоких развалинах донжона в блеклом свете луны. Вероятно, именно это послужило основой легенды о том, что развалины монастыря кармелитов связаны с замком Рушмия подземным туннелем, уходящим вглубь Кармеля, и что благодаря этому туннелю дух белого монаха может находиться в обоих местах одновременно. На протяжении нескольких сотен лет он появлялся в рассказах паломников, бедуинов и жителей Хайфы. Пожалуй, последнее – и совсем недавнее – свидетельство о его появлении принадлежит нескольким подросткам, проводившим вечер в известном кафе – с репутацией пикап-бара – которое находится выше развалин замка Рушмия. По какой-то неведомой случайности пьяные подростки забрели

на территорию руин и были чрезвычайно напуганы непонятным зрелищем белой тени, холодно и бесцельно движущейся вдоль полуразрушенной стены.

Но как это часто бывает, то, что закончилось фарсом, начиналось с дороги. Утром 16 июня 1234 года на дороге, ведущей в Хайфу из Акры, появился ничем не примечательный молодой человек с бесформенным узлом, перекинутым через плечо. За полгода до этого он приплыл в Палестину паломником, но – потратив на дорогу значительно больше денег, чем мог себе позволить – подрядился обновить росписи в одной из синагог Акры. И если начинал он с бережного преклонения – относясь к мастерам, расписывавшим синагоги Святой земли, почти как к пророкам, – то постепенно он начал замечать и прямолинейность их мысли, и топорность ее исполнения. Тогда он стал добавлять к орнаментам стен тона грусти – в память о тоске Авраама, ведущего своего сына на гору Мория, – или наполнял глаза львов радостным удивлением от мира – в память об освобождении из египетского рабства. Оставаясь наедине с росписями, он на многие часы погружался в орнаменты – забывая и о холоде, и о жаре, – вглядывался в нарисованные им же самим глаза таинственных животных, вслушивался в их мысли и старался понять их потаенный смысл. Травы на стенах начинали зеленеть, расти и увядать, а Исаак раз за разом пытался услышать их бесшумное дрожание. За этим занятием его и застал глава хайфской еврейской общины, оказавшийся в Акре по каким-то торговым делам. Подумав о том, что маленькая хайфская община никогда не сможет позволить себе выписать художника из Европы, «парнас» предложил Исааку украсить хайфскую синагогу росписями, похожими на те, что он обновлял в синагоге рабби Иафета в Акре. Исаак согласился.

Впрочем, к росписи хайфской синагоги он подошел иначе. Здесь не было той старой канвы, которой он должен был следовать, а орнаменты на стенах оказались столь грубыми подделками под живое дыхание мироздания, что Исаак с легким сердцем сбивал их со стен или покрывал слоем штукатурки и грунта. Перед тем же как нарисовать лист, цветок или птицу, он пытался услышать их звук, вообразить их голос, наполненность пространства цветом и еще прочувствовать встречные движения своей души, страсти и боли, наполняющие рисунок. В эти минуты и сам он наполнялся цветом, как водой или молоком. И тогда рисунок шумел ветром, шелестом морского прибоя, болью сердца, полнотой бессмысленной некорыстной любви и какой-то неясной, нерациональной, невоплотимой ответственности за все существующее. В зависимости от настроения он вкладывал в линии и свое изумление перед несокрытой красотой явленного мира, и тайные каббалистические смыслы. Но поскольку средневековая Хайфа находилась на полуострове – к западу от современного нижнего города, – то куда бы Исаак ни шел, он почти всегда выходил к морю. Он слушал, как волны бьются о берег, разбрасывая свет и пену, как наполняется воздухом его душа, и дрожание моря становилось линиями его рисунка. Когда-то, еще в Италии, один праздный горожанин с благородным пристрастием к искусствам сказал Исааку, что учится рисовать, потому что хочет ощутить переживание творения. Но ни с каким таким переживанием Исаак так и не столкнулся; он пытался заставить цвета ожить, истечь радостью и болью, говорить о добре и зле, о рабстве и искуплении, о Еве и Моисее, о рае и аде. Это был тяжелый труд; а от стояния на лесах и тяжести кисти болели спина, ноги и предплечья. Еще в меньшей степени, чем пережить творение, он стремился – или был способен – выразить себя; совсем наоборот, он пытался цветом рассказать правду, как он ее понимал, и растворялся в безнадежной несоизмеримости своей жизни с огромностью мироздания и недостижимостью истины.

Но потом росписи были закончены, а другой синагоги в тогдашней Хайфе не было. Правда, было несколько молельных домов, но они принадлежали совсем маленьким общинам, которые не могли оплатить работу художника. Исаак предложил расписать их бесплатно, но – почувствовав подвох в предложении, на первый взгляд, столь выгодном и иррациональном, – члены общин отказались. Разумеется, существовали еще общины Цезареи, Аскалона, Тивериады и маленьких городков Галилеи, которым он мог предложить свои услуги, и, наконец,

Иерусалима. Но скорее всего там он тоже получил бы отказ. К тому же ни в одной из них он бы не нашел этого невероятного моря, без которого было невозможно жить, и зеленой, поросшей колючим кустарником горы. Тогда он отправился в греческую православную церковь и предложил ее расписать, но его предложение – предложение бродячего еврея – было с возмущением отвергнуто. Та же судьба постигла его и в сирийской православной церкви. Боясь, что отказ римских католиков и маронитов, также формально подчиняющихся папе, лишит его последних надежд, Исаак решил поступить более предусмотрительно. Он отправился в Акру, где купил костюм генуэзца, и так, в качестве паломника, вернулся в Хайфу. В новой одежде евреи его больше не узнавали – да и помнили ли когда-либо члены общины лицо своего художника? – и он чувствовал себя спокойно. На следующий день он перевалил через гору, спустился в долину Сиах и попросил кармелитов разрешить ему у них переночевать. Прожив у кармелитов несколько дней, он остался в монастыре в качестве послушника, а потом – учитывая постоянную потребность в людях из-за растущего числа паломников и враждебного окружения – был принят в число монахов. Так он получил возможность расписывать и здания монастыря, и католические церкви Хайфы; но главное – теперь он мог рисовать людей.

Не то чтобы теперь он забыл о шуршании кустарника или плеске воды, о свете солнца или причудливых виньетках листвы на склонах холмов, но всё же все они как бы сделали шаг назад и отступили – в прямом смысле этого слова – на задний план. Впрочем, иногда – почти что из чувства вины – он пытался прописать этот задний план как можно внимательнее, даже добавляя некоторый отсутствующий в реальности драматизм. И тогда так и не увиденный им Иордан или Кишон, который он пересекал по дороге в Акру, – оказывались похожими на великие европейские реки, а скалистые вершины Тавора и Кармеля упирались в небо. На горе Синай, как на вершинах гор, отделявших Италию от страны франков, лежали вечные снега. Монахи указывали Исааку на его ошибки, но настоятель понимал природу этих ошибок и принимал их. Точно так же, в розовых и голубых тонах, Исаак изображал великие и уже невидимые города прошлого, прописывая причудливые ветвящиеся башни, многооконные дома и ажурные ворота. И все же писать людей оказалось еще более захватывающим. Он закрывал глаза и пытался вообразить их, как когда-то представлял себе лица несуществующих зверей; теперь же он видел тяжелую поступь Моисея, тревожные глаза пророков, удивительную встречу ангела с Марией из Назарета, Павла из поколения непримиримых законоучителей времен Иудейской войны. Исаак слышал их голоса, вслушивался в эти голоса с упорством, слепой настойчивостью и болью, и чувствовал, как ему самому тоже хочется смеяться и плакать; в такие моменты все внутреннее пространство души превращалось в отдельные кубики театра, в которых история разыгрывала самую вечную из своих мистерий. Он писал то, что было самым неповторимым, самым преходящим и поэтому самым неизменным.

Год за годом Исаак все больше погружался в свои воображаемые города. Он расписал не только церковь монастыря кармелитов, но и трапезную, и комнаты, предназначенные для паломников, и церкви города, и даже залы замка Рушмия. Ему казалось, что он помнит каждую волну Галилейского моря, каждый изумленный взгляд, дрожание рук и каждый шаг того, кого для себя он все еще называл сыном Марии из Назарета. Не имея на то совсем уже никаких оснований, он поселял в своих городах не только львов, которых полюбил еще тогда, когда вглядывался в их глаза в полумраке хайфской синагоги, но и единорогов, и ехидн, и каких-то чудовищ, имен которых не знал и сам. Он писал глаза людей, неожиданно увидевших жизнь вечную, самодовольство предательства, и руки матери, склонившейся над телом сына. Он писал свет неба, и ликование, и горечь, любовь, несправедливость мира, бездонную боль человеческого сердца и предсмертное одиночество бодрствующего среди мироздания, погруженного в сон. Иногда монахи, стоявшие у него за спиной, со снисходительным одобрением говорили ему, что «и сами бы так нарисовали», если бы умели и если бы не были заняты вещами более важными. Он не сердился на них, потому что знал, что это пустые и праздные слова, потому что

«так» они никогда не сумеют, потому что жизнь нарисованного им была полнее и истиннее жизни окружающего их мира. Но чем совершеннее становилось его искусство, тем чаще Исаак с ужасом думал о том, что когда-нибудь не останется больше ни одной церкви, ни одного дома, который он еще мог бы расписать. Тогда он начинал присматриваться к мечетям, вспоминал их архитектуру, думая о том, как будет выводить на их стенах сложные орнаменты, удивительные и таинственные фигуры, шести- и восьмиконечные звезды, которые самой простотой своих беспредметных линий должны будут выразить удивительное разнообразие жизни духа и полноту чувства.

Но ему не суждено было стать еще и художником мечетей. Когда Исааку показалось, что уже все расписано, во Франшвилле – который жители Хайфы называли замком Рушмия – закончили строительство часовни святого Дени. Для ее росписи поначалу собирались пригласить какого-то известного мастера из Европы, но потом вдруг попросили об этом Исаака. Он согласился и сказал себе, что эта часовня должна стать самой совершенной его работой, в которой он сможет собрать все, чему научился за многие годы, и растворить в ней самую основу бытия. Каждый входящий в часовню, добавил он, должен будет забыть о том мире, откуда он пришел, и следовать шаг за шагом за Адамом, увидевшим свою судьбу в яблоке, и Авраамом, вышедшим из Ура халдейского, и за нищими рыбаками галилейского моря, вопреки всякому рассудку узнавшим, что не на высоких колоннах храма и его гордых священниках, а на их старых рыболовных сетях сошелся необъяснимый клин истории. Но потом Исаак подумал, что вошедшие должны будут не только забыть о мире, но и помнить о нем; и тогда он задумал аллегорические фигуры добродетелей и пороков по всему периметру часовни. Над входом же с обратной стороны – там, куда падает взгляд уходящего назад в мир, – он решил написать «Бог сохраняет всё». В обе стороны от замка расходились зеленые горные отроги, охватывающие долину Рушмия и спускающиеся к голубой массе моря далеко внизу. Исаак работал без отдыха, почти не останавливаясь, даже иногда ночевал в часовне; снова заболели спина и ноги. А по вечерам он поднимался на донжон замка Рушмия и вглядывался в опрокинутый южный полумесяц, пытаясь угадать в его свете взгляды, лица и контуры своих героев.

Он никогда не рисовал так хорошо, так точно, так мучительно, с такой страстью и самозабвением; никогда лица не светились такой глубиной радости и страдания, а звери и травы не были столь живыми. Одна из женщин замка, украдкой заглянувшая в часовню, задрожала так, как если бы стала свидетельницей чуда. И все же чем дальше продвигалась его работа, тем острее он ощущал свое поражение. В созданном им не было той полноты, которую он искал, и той истины, проводником которой стремился стать. Исаак все чаще уходил из часовни и бродил по селам и полям, окружавшим Франшвилль. После многих лет, проведенных наедине с призраками вечности, ветер снова шелестел в траве, а пропитанная водою земля проседала и чавкала под ногами. В один из таких дней он наткнулся на бедуинский клан – чьему шейху он когда-то помог, – который вернулся на Кармель после нескольких лет отсутствия. Его приняли как почетного гостя. «Но твое лицо омрачено», – сказал шейх. «Да, – ответил Исаак, – потому что я так и не смог услышать язык вечности». «Вы, люди Запада, – ответил шейх, – часто ищете то, чего нет. Многие ваши желания нам непонятны. Но в горах за Галилейским морем есть камни, которые помнят вечность. Возможно, они тебе помогут. Мы называем их Ружм аль-Хири». Исаак с благодарностью поклонился. На следующее утро он уже был в пути. Он пересек всю Галилею, ночевал в лесу, потом на постоялом дворе. На третий день он вышел к огромной каменной массе замка Бельвуар, когда-то выстроенного госпитальерами на горе над Иорданом; мусульмане называли его Каукаб аль-Хава, «звезда ветров». Ровные светящиеся луга вели к замку от самой Изреельской долины, на другой же стороне – дальними синими силуэтами – маячили горы Заиорданья. Галилейское море осталось на севере, слева от него.

На следующий день Исаак переплыл Иордан и, забирая все левее, начал подниматься по обрывистому склону плато, которое когда-то было отдано колену Менаше, а теперь называется

Голанскими высотами. Наверху было холоднее; галилейские леса сменились степной равниной. Он подумал о том, что оказался на том самом пути в Дамаск, где когда-то повернул обратно непримиримый иерусалимский раввин. Еще два дня Исаак плутал по степи, спрашивая дорогу у пастухов и прячась от разбойников, которые – как говорили – в изобилии встречались в этих местах. Кому принадлежала эта земля, было неясно, но Исаак знал, что еще севернее – почти у подножья великой горы Хермон с заснеженной, как в Европе, вершиной – находится могущественная крепость Калаб Нимруд, незадолго до этого выстроенная племянником Саладина в качестве оплота против крестоносцев. Исаак начал бояться, что его сочтут шпионом и он окажется в страшных подземельях Калаб Нимруда; но ему снова помогли бедуины, с которыми он и здесь оказался знаком. Степными лощинами они провели его на восток, а потом указали дорогу назад на юг – к тому месту, которое они старались обходить стороной. Еще некоторое время он продолжал идти степными тропами, оглядываясь на окрестные – пустые и одинаковые – холмы; солнце спускалось все ниже; воздух медленно тускнел. Так к концу дня Исаак оказался в Ружм аль-Хири. За последние несколько тысяч лет это место скорее всего изменилось лишь в малой степени, и поэтому вполне вероятно, что Исаак увидел его почти таким же, каким его можно увидеть и сегодня. Ружм аль-Хири представляет собой четыре концентрических круга, состоящих из гигантских каменных менгиров, – сомкнутых вокруг невидимого центра. Языческое и варварское величие этого места испугало его, и он присел на траву. Закатное солнце осветило небо длинными красными всполохами на густом синем фоне. Исаак поднялся и вышел на середину круга.

«Я хочу то, что мне нужно, чтобы нарисовать вечность», – сказал он. Но ничего не произошло. – Я хочу то, что мне нужно, чтобы нарисовать вечность», – повторил он и сел на землю. Закатная синева быстро темнела, становилось все холоднее; и Исаак начал дрожать. Неожиданно он почувствовал мучительное жжение в области груди, потом оно сменилось пульсирующей болью; он опустил глаза и увидел, что все его тело охвачено светом. Свет был столь сильным, что Исаак видел даже внутренний ряд менгиров, обступивших его сомкнутым кругом. Ему показалось, что вся боль мира – неизреченных человеческих страданий, чужих голосов, лишенных слов, горечи самообмана и безграничной человеческой жестокости – прошла через его сердце. И все то, знание о чем уже несовместимо с жизнью, наполнило его душу до самого края. Сердце билось и рвалось наружу, и Исаак прижал к нему ладони. Но оно светилось все сильнее и все сильнее вырывалось наружу. Тогда Исаак достал из узелка свою деревянную миску и обреченно прижал к груди. Сердце рванулось еще раз, с видимым облегчением вспыхнуло ликующим сиянием и стало распадаться на мелкие угли. Исаак стал ждать, когда угольки потухнут и он умрет; но этого не произошло. Прошел час. Угольки, наполнявшие миску, горели ровным красным свечением, пульсирующим, но не затухающим; сама же деревянная площадка оставалась холодной. Так, в ожидании, Исаак провел полночи; потом в изнеможении лег на бок, обхватил площадку руками и уснул. Он проснулся через несколько часов от ранних лучей восхода. Угли, как и раньше, светились ровным и теплым светом. Исаак поднес к ним ладони, и ладони наполнились теплом. Потом прижал ладонь к ребрам; в груди было тихо.

Он поднялся, размял руки, попрыгал на месте; постепенно становилось теплее. Но больше ничего не происходило; менгиры кольца оставались холодными, чужими, варварскими и мертвыми. Исаак обошел внутренний круг, приложил руки к камню; ничто не изменилось. Он искал хоть какую-нибудь подсказку, что же ему делать дальше, и не находил ее; круг оставался безучастным. Исаак вернулся к центру, осторожно поднял миску и нетвердыми шагами отправился назад. Теперь, с площадкой светящихся углей в руках, он еще больше боялся попасться на глаза случайным прохожим и еще глубже вжимался в степные лощины. Необходимость переправиться через Иордан поначалу привела его в замешательство; он испугался, что вода случайно попадет на угли и их потушит, а вместе с ними и его жизнь. Но потом Исаак все же взял один из угольков и осторожно погрузил в воду; он не только не погас, но, вспыхнув,

засветился красным наполненным светом. Тогда Исаак приподнял плоску на ладонях и начал быстро спускаться в воду; когда же вода достигла груди, он опустил плоску на воду и, поплыв, стал толкать ее перед собой. Впрочем, еще до этого он обнаружил, что угли обладают и другим чудесным свойством. Спускаясь со степного плато на востоке от Галилейского моря, он увидел в одной из лощин человеческое тело. Подойдя ближе, он понял, что этот человек еще жив, хотя и ранен и сильно избит. Судя по вещам, разбросанным по земле, он стал жертвой разбойников. Острая и бесцельная жалость наполнила душу Исаака. Он наклонился над раненым, плеснул воду ему в лицо; человек застонал, потом открыл глаза и со страхом посмотрел на Исаака.

Исаак дал ему напиться, потом попытался перевязать рану. Но незнакомый человек продолжал дрожать и протягивать к нему руки. Тогда Исаак вспомнил про свою плоску и поднес ее к раненому, чтобы тот смог согреться. И тут произошло нечто удивительное. Раненый человек с жадностью схватил один из углей, положил его себе в рот, проглотил и потерял сознание. Исаак подумал, что он умер, но постепенно лицо раненого начало светлеть и наполняться живым теплом, а потом он открыл глаза; чуть позже смог подняться. Довольно долго Исаак вел его по степи, пока не встретил все тот же клан бедуинов, которые пообещали приютить раненого. Уже к западу от Иордана та же история повторилась вновь, хотя и несколько иначе. Недалеко от замка Бельвуар – у восточных склонов горы Гильбоа – с ним заговорила женщина, потерявшая жениха в одной из бесчисленных стычек с бедуинами Заиорданья. Долгие месяцы она не могла найти успокоения. Исаак исповедовал ее, а потом приложил к ее груди один из углей. Женщина покачнулась, как-то осела – и вдруг выдохнула, если и не прощаясь навсегда, то расставаясь с болью. Чуть позже, уже в Изреельской долине, он встретил рыцаря с пустым взглядом; его лошадь с опущенными поводьями лениво брела по тракту. Рыцарь рассказал, что уехал из Европы, ведомый высокими рассказами про Палестину, про возвращение Иерусалима и гору Храма. Здесь же, в Акре, он нашел лишь взаимную ненависть – между тамплиерами и госпитальерами, между венецианцами, генуэзцами и пизанцами, – а еще бесконечную ложь, жажду наживы и темные торговые сделки. Исаак отдал уголек и ему; взгляд рыцаря посветлел, и он выпрямился в седле.

Эта новообретенная чудесная способность давать утешение душе и телу потрясла Исаака, а всегда витавшая над ним смутная ответственность за мироздание – непреодолимое сострадание к чужой боли – неожиданно обрела вполне материальное оправдание. С чувством вновь обретенного долга он отдавал угли своей души голодным детям, обманутым и опозоренным женщинам, нищим, отчаявшимся, пьяным и безумным. Он разбрасывал любовь к людям и бесцельную, бескорыстную к ним жалость, как разбрасывают семена на полях. То, что и огонь души может быть истощен, не приходило ему в голову. Если чего-то ему и становилось жаль, то это было время – то самое время, когда, раздавая угли, он больше не помнил о росписях стен, о живых листьях и страстных лицах пророков. Но мысль о том, что он может врачевать сердца – о том, что он считал долгом человека перед своим состраданием и перед творцом мироздания, – перевешивала горечь уходящего времени. И еще эта мысль была связана с не совсем чистой гордостью тем, что углями своей души он может – хоть немного – залатать несовершенство окружающего мира. Да и слова благодарности казались ему наградой, а клятвы в преданности – залогом на будущую вечность. «Потому что и мне, – говорил Исаак, – может когда-нибудь потребоваться тепло чужого сердца». И только однажды он усомнился; но усомнившись однажды, стал сомневаться все больше.

Он проходил через деревню у подножия Кармеля, в которой уже когда-то побывал, и та же самая девушка попросила ее исповедовать – «и еще того же волшебного огня». Он отдал ей еще один уголек и с горечью понял, что их действия хватает лишь ненадолго. Но она снова благодарила его. Тогда он решил узнать, что же стало с другими осколками его сердца. Он снова шел по городкам, замкам и деревням Галилеи, но утешенные либо не узнавали его, либо стремились скрыться в домах своего вновь обретенного счастья; безутешные же с жадностью

просили еще. И только тогда он увидел, что его плошка с углями почти пуста. Исаак решил быть осмотрительнее, но все равно – каждый раз – не мог устоять перед словами человеческой боли; те же, кому он отказывал, теперь обращали к нему ожесточившееся лицо гнева. Но еще хуже было другое. Он узнавал, что угли, отданные им, совсем не всегда служили душе. Оправившись от боли, их использовали для зажигания свечей, растопки печей или освещения ночных троп; расчетливые продавали их торговцам, дарили важным и нужным людям, неразумные выбрасывали в кучи мусора. Некоторые даже топтали их, сочтя сатанинским наваждением, или же каялись и просили наложить на себя епитимью. В одной из деревень ему рассказали про дом, сгоревший от негаснущего огня, подкинутого соседом; в другой – о купце, торговавшем золотыми украшениями и десятком таких огней. Когда он возвращался домой, та же девушка с глазами, полными боли, попросила его дать ей огня в третий раз. Он развязал узел и показал ей пустую плошку. Ее глаза наполнились ненавистью. «Вот он, вот он, – закричала она, – жадный торговец ложным огнем». На Исаака спустили собак, и ему пришлось бежать, а потом отбиваться монашеским дорожным посохом, пока не подошел кто-то из стариков и не прогнал собак и их хозяев. Он почувствовал, что измотан дракой с собаками, но еще больше – обидой и разочарованием, и заночевал в караван-сараяе. Но ночью его снова разбудили. Это была та же самая женщина; тихим взвинченным голосом она говорила каким-то невидимым людям: «Он где-то здесь. Не ушел далеко. У него еще много огня. Но он не отдает его. Я бы хотела видеть его мертвым», – и они что-то нежно шептали ей в ответ. Наутро ему пришлось присоединиться к группе рыцарей, возвращающихся в Хайфу.

Исаак вернулся в замок Рушмия и сразу же вошел в часовню. Неоконченные фрески смотрели на него с укоризной; ангелы и апостолы продолжали говорить о вечности; пороки и добродетели поворачивали к нему свои крестьянские лица. В замке Исааку сказали, что его давно уже сочли мертвым – и за время его отсутствия нашли другого художника, который должен приехать со дня на день. По тропе он спустился в город, зашел в синагогу, заглянул в глаза своих львов и своих листьев, потом обошел свои церкви, и нарисованное им показалось ему бесконечно, пронзительно далеким. Он заночевал на постоялом дворе, а наутро поднялся назад, на Кармель, по тропе перевалил через хребет, спустился в долину Сиах. Он узнавал свою руку во всем, что окружало его в монастыре, – и хотя поначалу ему показалось, что в его фресках нет жизни, он вдруг понял, что жизнь ушла не из них, а из него самого. Тогда он вернулся в замок, в сумерках поднялся на донжон и стал ждать, пока покажется этот ярко-желтый перевернутый полумесяц. Потом спустился в часовню. Он представил себе, как какой-то пришлый маляр начнет дописывать его фрески, в которых он хотел сохранить вечность, и ему стало грустно. Взгляд остановился на надписи над дверью; «Бог сохраняет все», – повторил он одними губами. Потом повернулся к единственной законченной фреске. На ней уже лишенный тела сын Марии из Назарета разговаривал с непримиримым иерусалимским раввином, на лице которого лежал неожиданный отпечаток смятения и страха. На секунду коробочки внутреннего театра ожили и пришли в движение. Исаак знал, что сейчас слышит этот человек, повернувшийся обратно на той самой пустынной равнине на пути в Дамаск. Через несколько минут его взгляд остановился на соседней фреске, еще требующей напряжения и души, и рук. «Куда ты идешь?» – спросил Исаак сам себя, достал из узла пустую деревянную плошку, обнял ее, опустил голову и заплакал. Но в груди было тихо и пусто. Так он стал белым монахом.

## Сказка четвертая. Про Беньямина из Туделы и нашествие бабуинов

Во второй половине двенадцатого века – вероятно, где-то между 1159 и 1172 годом – Беньямин сын Ионы из города Тудела на северо-западе Испании пересек Евразию и, таким образом, стал первым европейцем, достигшим Индии и Китая. Его путешествие было описано в книге, известной сегодня как «Книга путешествий рабби Беньямина» и содержащей – среди многочисленных сведений, касающихся той эпохи, – достаточно подробные описания Палестины. На русский язык «Книга путешествий» была переведена во второй половине девятнадцатого века и издана в 1881 году в сборнике под несколько странным названием «Три еврейские путешественники». В Хайфу – которую Беньямин из Туделы называет Хефа и упоминает, что ее также называют Нефасой, – он прибыл из Тира ливанского. По дороге он останавливался в Акко – или Акре на языке того времени, – где, по его словам, он обнаружил небольшую еврейскую общину из двухсот человек, во главе которой стояли рабби Цадок, рабби Иафет и рабби Иона. Из Акры Беньямин отправился в сторону горы Кармель, среди достопримечательностей которой упомянул реку Кишон у подножия горы, пещеру Ильи Пророка, церковь невдалеке от пещеры, остатки жертвенника времен царя Ахава и множество еврейских захоронений талмудического периода, часть из которых сохранилась на территории Хайфы и сегодня. Однако парадоксальным образом наибольшее впечатление на рабби Беньямина произвела не пещера пророка и даже не древний жертвенник, а удивительная популяция бабуинов, населявших кармельские леса. Нарушая свои обычные правила лаконичности, он посвящает несколько страниц их подробному описанию.

По всей вероятности, эта популяция действительно была в высшей степени примечательной, поскольку ее почти всегда упоминают и так называемые «христианские итинерарии» – путевые книги, предназначенные для паломников, направляющихся в Святую землю. Так, нотариус Бургхардт, служивший при Фридрихе Барбароссе, сообщает о том, что леса Палестины кишат бабуинами, жизнь которых он имел возможность наблюдать вблизи Кармеля. Он достаточно подробно описывает их повадки, хотя и уточняет, что наиболее хитрыми, непредсказуемыми и опасными для человека являются бабуины иерусалимские. Дитмар из Мерсбурга побывал в Хайфе – которую он также называет Порфирией – в те времена, когда город был почти полностью разрушен – как он утверждает, «сарацинами». Он пишет, что на Кармеле обитают львы, леопарды, медведи, волки, олени, серны, дикие козы, животное «свиное и еще более ужасное, чем лев», которое местные жители называют «лонзан»; но все же и он выделяет бабуинов и павианов, про которых сообщает, что их обычно называют «лесными собаками».

В том, что палестинские бабуины – с их удивительной стадностью – производили на европейского путешественника неизгладимое впечатление, нет ничего удивительного. Действительно, популяции животных, до такой степени напоминающие человеческие сообщества, в Европе того времени не были известны и – более того – по всей вероятности, были с трудом представимы. Книга «Легенды Святой земли», изданная в 1906 году под редакцией Мармадуке Пикталя, даже сообщает, что в бабуинов превратились жители Акабы, не соблюдавшие субботу, однако это сообщение едва ли можно считать достоверным. Впрочем, и задолго до Пикталя – со смесью удивления, восхищения и некоторого недоверия – европейские путешественники описывали удивительную рациональность поведения бабуинов – почти безупречную корреляцию их поведения со вполне однозначно обозначенными целями – и их видимую способность планировать свои поступки с оглядкой на достаточно значительный промежуток времени. В некоторых смыслах – о которых пойдет речь ниже – способность бабуинов подчинять свое поведение рациональной цели представляется совершенно удивительной. И все же

следует сразу же уточнить: согласно описаниям, оставленным путешественниками, цели бабуинов обычно ограничивались теми, которые лежали в плоскости личного удовольствия, питания, спаривания, самосохранения и преумножения коллективных образов стадности.

Подобная удивительная рациональность – часто превосходящая человеческую – проявляется в первую очередь в формах охоты, привычной для бабуинов. Обычно бабуин становится агрессивным либо в стаде, либо при столкновении с заведомо слабейшим противником. При иных обстоятельствах поведение бабуина может содержать скорее элементы символической агрессии – агрессивные и неприязненные жесты, злобное шипение, – не переходящие, однако, к собственно охотничьей активности. Впрочем, подобная рациональная оценка противника характерна и для многих других животных. В то же время, в отличие от большинства животных, в тех случаях, когда нечто, представляющее ценность для бабуина – будь то еда или предметы, на которые направлены иные его желания, – находится в руках противника равного или сильнейшего, бабуин будет склонен скорее просить, нежели пытаться отобрать силой. Во многих подобных случаях бабуин будет стараться подойти поближе, старательно копируя движения обладателя желанного предмета и даже пытаясь почесать ему спину. Впрочем, если этот обладатель засыпает, поведение бабуина резко меняется. Оно становится не только рациональным, но и решительным, и включает массу уловок для получения нужной ему вещи. Судя по рассказам путешественников, нередки были и такие случаи, когда бабуины убивали своих противников во сне. Резкие переходы бабуинов от раблепного подражания своим жертвам к приступам, на первый взгляд, неконтролируемой злобы часто упоминались в рассказах того времени. Их жертвами могли становиться и люди.

Наибольшее разочарование постигало, пожалуй, тех, кто пытался кормить бабуинов. Часто, наевшись досыта, бабуины пытались укунить руки, их кормившие, – и проделывали это с шипением и неприязнью, вызывавшими искреннее изумление. Впрочем, так происходило скорее со случайными путешественниками и паломниками. В этих случаях – как кажется, благодаря остро развитому поведенческому рационализму – бабуины понимали, что в дальнейшем эти люди не представляют для них особой ценности. Иначе складывались отношения бабуинов с местными жителями. Монахи-кармелиты из монастыря в долине Сиах рассказывали, что поначалу они пытались приручить бабуинов, подкармливая их монастырской едой. Едва ли можно представить себе занятие более бессмысленное. Пока бабуинов кормили досыта, они демонстрировали многочисленные внешние признаки глубокого расположения, радостно подпрыгивали при появлении людей и даже лизали им руки. Более того, при определенных обстоятельствах – благодаря паническому страху асоциальности и несмотря на свой почти врожденный рационализм – бабуины приводили с собой других бабуинов, для того чтобы разделить с ними избыток монастырской еды. Часто и эти бабуины тоже начинали повизгивать и подпрыгивать. Однако человеку не следовало себя обманывать в отношении смысла этих повизгиваний; подобные внешние проявления не имели ничего общего с благодарностью верной собаки.

При первых же признаках опасности бабуины исчезали из окрестностей монастыря или даже обнаруживались в лагере осаждавших. Когда же еды становилось меньше или ее запасы иссякали – а в монастыре, разумеется, бывали и голодные годы, – довольное повизгивание бабуинов сменялось криками ненависти, поистине удивительными. Более того, как это ни странно, злоба бабуинов не проходила вслед за мгновенным животным разочарованием и сохранялась надолго. Подобные эмоциональные переходы, свойственные бабуинам, не раз озадачивали монахов и становились предметом подробных описаний и споров. Еще больше их удивляло то, что особая ненависть бабуинов была направлена именно на тех людей, которые их кормили в предыдущие сытые годы. Действительно, по отношению к тем монахам, которые палками отгоняли их от монастыря и монастырских угодий, бабуины испытывали скорее страх, в то время как к тем, кто их кормил, они надолго наполнялись неугасающей ненавистью. В одну из таких голодных зим два монаха – из числа тех, кто до этого подкармливал бабуинов

вопреки запрету настоятеля, – были даже растерзаны их стадом. Нет необходимости говорить, что и иная помощь бабуинам – а поначалу монахи, например, пытались спасти их от лесных пожаров – редко оставалась безнаказанной для незваных спасателей. Бабуины воспринимали помощь как естественную и им неизбежно причитающуюся, а не получая ее при других обстоятельствах, наполнялись жгучей ненавистью.

И все же наиболее удивительным является, пожалуй, то, что – согласно средневековым бестиариям – в отличие от большинства животных бабуинам была доступна достаточно сложная форма символического языка. Разумеется, абстрактные понятия практически не могли быть выражены на этом языке; да бабуины в них и не нуждались. Более того, когда путешественники пытались привлечь внимание бабуинов предметами, не имеющими непосредственного отношения к существованию последних, бабуины убежали с криками возмущения и отвращения. Ту же самую реакцию вызывали почти любые попытки передать бабуинам ту или иную информацию, не относящуюся к непосредственному кругу их экзистенциальных интересов. Впрочем, то, что воспринималось средневековыми путешественниками в качестве некоторой приземленности, характерной для склада мысли бабуинов, с современной точки зрения свидетельствует скорее об их практичности и нежелании предаваться праздным построениям и фантазиям, столь характерным для средневекового человека. В то же время круг понятий и символических средств, необходимых для выражения социальной организации в сообществе бабуинов, был чрезвычайно богат. Более того, некоторые путешественники не без изумления отмечали его превосходство над аналогичным инструментарием, находившимся в распоряжении человека того времени – и в особенности человека странствующего и поэтому не являвшегося интегральной частью какого бы то ни было нерушимого сообщества.

Согласно описаниям путешественников, базисной ячейкой сообщества бабуинов является парность. Многие путешественники отмечали, что одиноко пасущийся бабуин постоянно испытывает смутное чувство тревоги – часто переходящее в нервные движения и судороги, – пока не достигает подобного социального спаривания. У некоторых бабуинов стремление к парности может оказываться сильнее чувства голода, жажды и даже самосохранения, несмотря на то что последнее у бабуинов развито чрезвычайно сильно. В тех же случаях, когда двум одиноко пасущимся бабуинам удастся сформировать стабильную спаренную ячейку, они обходят по кругу других бабуинов – и в особенности тех, кому удалось спариться раньше, – бьют себя кулаками в грудь, повизгивают и чешут друг другу спину. Как кажется, самки склонны к подобному поведению в несколько большей степени, нежели самцы. Любопытно, что это часто происходит и в тех случаях, когда такие «собабуиненные» ячейки существуют крайне недолго. Более того, удивительным образом в некоторых случаях подобное ликование бабуинов передается и тем их соплеменникам, которые в данный момент не проходят процесс социального спаривания. В таких случаях другие бабуины – число которых может достигать пятисот особей – собираются толпой вокруг новообразовавшейся пары, прыгают, подкидывают в воздух еду, покусывают друг друга, визжат, воют и издают иные звуки, смысл которых путешественникам понять не удалось. Им также не удалось установить, в каких случаях спаривание бабуинов приводит к подобному массовому ликованию части стада.

Еще одной причиной социального ликования бабуинов является процесс размножения. С зоологической точки зрения подобное ликование особенно интересно, поскольку оно достаточно убедительно показывает, что при столкновении бабуинской рациональности со свойственным им удивительным социальным чувством, как ни странно, более сильным оказывается именно последнее. Действительно, в абсолютном большинстве случаев количество ресурсов, находящихся в распоряжении как целого стада, так и отдельных его спаренных ячеек чрезвычайно ограничено. Об этом косвенно свидетельствует и поведение бабуинов, постоянно находящихся в поиске дополнительных возможностей пропитания и увеличения ресурсов, необходимых для удовлетворения их потребностей и желаний. В результате леса, в которых

появляется бабуинское стадо, оказываются дочиста объединенными и забросанными всевозможными остатками их жизнедеятельности. Часто в процессе подобных неустанных поисков одни бабуины убивают других. В этом смысле с рациональной точки зрения появление новых голодных бабуинят, претендующих на ресурсы стада и поначалу непригодных для самостоятельной охоты, является исключительно отрицательным явлением. Еще более отрицательным оно может оказаться для отдельной спаренной ячейки бабуинского сообщества, поскольку бабуинята неизбежно претендуют на часть ресурсов, находящихся в распоряжении этой ячейки. Наконец, если сторонний наблюдатель примет во внимание тот – уже упоминавшийся – факт, что бабуины крайне ревниво реагируют даже на малую угрозу своим интересам, то такой наблюдатель может заключить, что умножение стада должно вызывать у них исключительно отрицательные эмоции.

Однако на самом деле дело обстоит совершенно противоположным образом. И, как уже говорилось, подобное противоречие необходимо приписать исключительной роли социального чувства. Действительно, уже на ранних этапах беременности самка бабуина начинает проявлять ярко выраженное желание разделить социальное значение своего состояния с другими членами бабуинского сообщества – и в первую очередь другими самками. При встрече с другими бабуинами она попеременно указывает себе на живот и бьет лапами в грудь, сопровождая подобную жестикуляцию той мимикой, которая характерна и для демонстрации состояния социальной «спаренности». Когда же маленький бабуиненок появляется на свет, пара бабуинов – обоснованно или безосновательно считающая себя ответственной за его появление – вновь обходит значительную часть стада, протягивая бабуиненка как ближайшим членам племени, так и случайным встречным и ударяя себя в грудь передними конечностями. Совсем иначе ведут себя необабуиневшиеся самки. Как утверждают многочисленные наблюдатели, обычно подобная самка испытывает постоянное чувство вины, лишь усиливающееся с возрастом. В определенном возрасте это чувство может переходить в глубокую депрессию – при которой самка свешивается с веток вниз головой, – а также в лихорадочные поиски спаривания или же попытки наказать себя повторяющимися ударами о пальму. Старшие же самки указывают на нее со странным похрапыванием, как кажется, выражающим крайнее неодобрение.

С этой точки зрения еще более интересным является крайний пример социального чувства, который – склонные к терминологическим нововведениям – средневековые монахи называли «вторичным инстинктом размножения». Речь идет о явлении действительно необычном и в чем-то странном. При встрече с необабуинившимися самками или парами старшие бабуины из того же бабуиноклана издают то же самое осуждающее похрапывание, о котором уже шла речь выше, а при определенных обстоятельствах могут демонстрировать и выраженные знаки неприязни. Во многих случаях при виде «чужих» бабуинят они начинают указывать на них обеими передними конечностями и громко выть. В некоторых случаях подобное поведение старших бабуинов может распространяться и на бабуина мужского пола. Их отношение резко меняется, как только младшая самка беременеет. В случае же рождения бабуиненка – и это самое поразительное – старшие бабуины, находящиеся во власти «вторичного инстинкта размножения», демонстрируют те же самые поведенческие симптомы, что и бабуины, непосредственно вовлеченные в процесс размножения. Они точно так же обходят стадо, поднося ко всем встречным новорожденного бабуиненка, издают крики ликования и ударяют себя в грудь. Особенно выразительными эти крики становятся при встрече с необабуинившимися самками, которые после подобных встреч могут убежать к ближайшему дереву и долго об него биться или же до крови грызть себе лапу. Иногда старшие бабуины даже задерживаются, для того чтобы повнимательнее посмотреть на подобные конвульсии. Вообще мало что может доставить бабуину такое же удовольствие, как причинение боли другим бабуинам – в особенности, и парадоксальным образом, членам своего стада.

Еда является еще одной постоянной темой общения бабуинов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку – как уже говорилось – бабуины склонны проводить чрезвычайно значимую границу между собою и «своим», с одной стороны, и всем остальным, существующим в мире, с другой. Благодаря этому практически всё, что тем или иным способом может быть помещено внутрь бабуина, получает чрезвычайно высокое положительное значение. Еды это касается в первую очередь. Найдя съедобный корень, гнилой овощ или банан, бабуин может долго обходить все стадо, попеременно направляя найденный предмет в морду своих товарищей по стаду. Впрочем, другие бабуины не воспринимают подобные действия с раздражением. Внимательный наблюдатель может часто оказаться свидетелем того, как они собираются в кружки, подпрыгивая вокруг найденного овоща или корня, нюхая его, попеременно надкусывая и издавая всевозможные одобряющие звуки. При этом нашедший корень бабуин ударяет себя кулачками в грудь и довольно подвывает. То же самое они склонны проделывать со всевозможными жидкостями, будь то вода из лужи или украденное у людей козье молоко. Часть традиционных сборищ бабуинов кажется настолько сконцентрированной на процессе поглощения пищи и жидкостей, что обмен звуками, сопровождающий этот процесс, представляется лишь фоном, необходимым для более успешного пищеварения. В то же время оказывается, что поиск съедобных предметов и процесс собирания их в кучи требуют такого значительного количества усилий и времени, что ни один беспристрастный наблюдатель не смог бы отказать им в самоценности.

Еще более удивительным является тот факт, что бабуины употребляют в пищу всевозможные предметы, не только чрезвычайно трудно добываемые, но и, на первый взгляд, не относящиеся к числу съедобных. Так, согласно описаниям средневековых bestiариев – как, впрочем, и путешественников, побывавших на Кармеле, – бабуины готовы проделать достаточно сложный путь к морю и часами стоять в воде ради возможности добыть несколько рыб, – даже в те времена, когда иная пища доступна им в изобилии. Еще более странным является тот способ, который бабуины используют для поглощения рыбы. Добыв нескольких рыбин на берегу моря и собрав множество водорослей, бабуины возвращаются с ними в лес и созывают других членов стада. Собравшись вместе, они разрывают сырую рыбу на тонкие полосы и перемешивают ее со всевозможными овощами, которые им удается украсть у людей – морковью, огурцами или авокадо. После этого они заворачивают получившуюся странную смесь в водоросли и раскладывают перед собой образовавшиеся комочки, не делая никаких попыток использовать их в пищу. Весь этот сложный процесс сопровождается всевозможными звуками и обычными для бабуинов ударами себя в грудь передними конечностями. И лишь когда вся имеющаяся рыба полностью превращена в подобные комки и разложена, бабуины приступают к быстрому и сосредоточенному процессу ее поглощения, после чего расходятся. Как зоологическое значение, так и смысл подобного обычая остались для людей совершенно непонятными. Еще более их озадачивал тот факт, что для подобного – вероятно, ритуального – поедания бабуины категорически отказывались использовать как вареную рыбу, так и сушеную воблу из монастырских погребов, предложенную им озадаченными монахами.

Наиболее убедительное объяснение подобной роли пищи, пожалуй, может быть связано с пониманием того особого значения, которое различные формы стадности и социального чувства играют в сообществах бабуинов. Любой бабуин точно знает, к какому бабуиноклану, стаду, подвиду и виду он принадлежит. Более того, несмотря на неистребимое желание причинять членам своего стада физическую боль и различные символически обозначенные унижения, степень самоидентификации бабуина со своим стадом чрезвычайно велика. Однако проявления этой самоидентификации обычно лежат в плоскости скорее ненависти, нежели симпатии. Так, при встрече со слабейшим бабуином из другого стада бабуин будет склонен издавать всевозможные агрессивные звуки, он может принять воинственную стойку или даже напасть, в то время как представители своего стада скорее всего оставят его равнодушным.

Исключением являются те случаи, когда встреча между одностадными бабуинами происходит на территории чужого стада. В этих случаях бабуин также обычно оказывается склонен размахивать всевозможными предметами, связанными для него с его кланом, стадом и видом. При кровавых стычках между стадами бабуинов – которые происходят достаточно часто и причины которых в большинстве случаев наблюдателям не удавалось понять – леса оказываются наполненными трупами бабуинов, а шакалы – в значительных количествах живущие на Кармеле – обеспеченными изобильной едой на продолжительное время.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.